

1989 № 1 (25)
ЯНВАРЬ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЬШ
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНЬЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
ЯНИС ПЕТЕРС
БАЙБА СТАШАНЕ
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ТАТЬЯНА ФАСТ
РУДИТЕ КАЛПИНЯ
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА

ПЕРЕВОДЧИК

ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

Айварс Тарвидс. «Ветераны» (1)
Линардс Лайценс. Стихи (6)
Янис Какулис. Стихи (9)
Айварс Клявис. «Утро» (10)
Григорий Гондельман. Стихи (14)
Михаил Кузмин. Стихи (16)
Наталья Стрижевская. Стихи (20)
Лидия Гинзбург.
«Из записей 1950—1980 годов» (22)
Лин Хеджинян. Стихи (28)

КУЛЬТУРА

Нормундс Науманис. «С Новым годом!» (32)
Гунтис Эниньш.
«Что скрывают письма?» (36)
Андрейс Германис.
«Добужинский и Латвия» (44)
Артем Троицкий. «Rock in the USSR» (48)

ПУБЛИЦИСТИКА

Кнутс Скуениекс, Алексей Григорьев.
«Легко ли быть латышом?» (52)
Вилнис Зариньш.
«Философия грабителей» (58)
Андрей Фадин. «Бремя величия» (62)
«Вы нам пишете» (66)
«Рига: двадцатые—тридцатые годы» (68)

ЛИТЕРАТУРА

Андрей Левкин. «Отчет о командировке» (72)
Викторс Ивбулис.
«Постструктурализм — что это?» (73)
Борис Дышленко. Из цикла
«Жернов и общественные процессы» (77)

АЙВАРС ТАРВИДС

ВETERАНЫ

НОВЕЛЛА

Адамсонс маялся от безделья. Внизу за окном на верхушке наряженной ели мерцала алым неоном звезда, а свисавшие с ветвей гирлянды лампочек бросали на сугробы цветные блики.

Весь вечер мело, и дорожки, ведущие к воротам, запорошило.

— Вот она, Новогодняя ночь! Как в детстве. Блестящие коньки, молебн, рождественский звон, подарки... Семья за столом, все поют... *Stille Nacht, heilige Nacht!*...

Адамсонс обернулся. Берзиньш по-прежнему, развалившись на кровати, читал «Правду».

— Да, хорошо, — согласился Адамсонс и снова уставился в окно. — Какой славный человек, — подумал он. — Начитан, все о взяточниках толкует, прижали им хвост, теперь всех к ответу тянут. По ту сторону окна металась снежинка, на улице, кажется, было скользко, такси, притормозив, чуть не слетело с поворота. Большие двенадцатизэтажные дома тянулись в ночное небо, а лес неподалеку уже совсем скрылся в темноте.

— Хорошо, жаль только, что домой не попасть, — мечтательно добавил он и представил себе внуков, как стоят они рядом у елки и читают стишки про Деда Мороза.

— Что же тут хорошего, — Берзиньш перевернул газетный лист, — если у вас, милейший, кишки раком изъедены.

— У меня!? — вскинулся Адамсонс и замер. Ладонь так и пристыла к стеклу, в глазах зарыбило, зимняя картинка дрогнула и поплыла черно-белыми полосами, как на экране испорченного телевизора.

— У вас, у вас, — из-за спины донесся голос Берзиньша. Он высморкался и продолжил: — Надо же, после Нового года обещают в Прибалтике мороз, настоящий сибирский мороз...

— С чего вы взяли, что у меня рак! — сорвался Адамсонс и, резко обернувшись, уставился на соседа по палате, мирно лежавшего в синей фланелевой пижаме.

Вместо ответа Берзиньш пожал плечами и отхлебнул прямо из бутылки глоток минеральной воды.

— Я вас серьезно спрашиваю!

Берзиньш долго молчал. Наконец, тщательно вытер губы, сложил очки и, отложив газету в сторону, добродушно спросил:

— Сколько вам лет, Адамсонс?

— Ну, шестьдесят четыре.

— Да, надежды мало, что поумнеете... Тут, милейший, раковая больница, онкологическая, у парадного подъезда написано.

— Меня на обследование положили, на анализы. Тут аппаратура лучше.

— Тридцатого-то декабря?

— Сейчас с местами полегче.

— Вы же ветеран войны, у вас все преимущества. О вас, так сказать, заботятся.

— А как же. Но я практически здоров, возрастная норма. Только врачи залечили, своими лекарствами желудок испортили, вот и болячки всякие...

— Известное дело, у вас типичное раковое истощение. В зеркало посмотритесь как следует! А родным-то уже наверняка сказали, что облучать поздно, а резать и вовсе не стоит, сердце все равно не выдержит...

— Замолчите! — Адамсонс облизнул пересохшие губы. — А вы сами то... Никак в санатории?

— Держись на наркотиках и только. Я обречен, приговор объявлен, — Берзиньш, грустно усмехнувшись, махнул костлявой рукой куда-то в потолок.

— Наркотики. Морфий, что ли? — поинтересовался Адамсонс. Ему была видна пульсирующая жила на запястье Берзиньша, дряблая кожа то вздымалась, то оседала, вспомнилась млеющая на солнце пещера ящерица, ее брюшко, вздрагивающее от сердцебиений.

— И морфий тоже. У вас денег много?

— Денег? Пенсия.

— Маловато, чтобы умереть.

Адамсонсу на миг почудилось, что этот плешивый дохлый старикашка в красных шерстяных носках, уютно расположившийся всего в нескольких шагах от него, попросту спятил. Адамсонс невольно сделал шаг назад и уперся в подоконник. — Черт знает что, а ведь Берзиньш так толково рассуждал о Рейгане, об югославских таблетках, о гипнозе все знает и будто бы со знаменитыми художниками и учеными знаком.

Берзиньш неотрывно смотрел на него прищуренным глазом и продолжал, смакуя каждое слово:

— Когда прихватит по-настоящему, за каждую ампулу платить будете. По десятке. Боли адские, накатывают все чаще и чаще и с каждым разом сильнее, а денежки тают...

— С какой стати я должен платить?

— А чтобы водичкой из-под крана не сдабривали. Нынче волна наркомании... Но вы ведь пожадничаете, начнете жаловаться, останетесь при своей бесплатной медицине и закричите как резаный... — тут Берзиньш умолк и, взяв с тумбочки том «Швейка», оборвал разговор. — Хорошая книга, успокаивает...

Адамсонс присел на кровать и некоторое время наблюдал за соседом по палате, как тот читает с той же ядовитой усмешкой на губах. Часы показывали десять вечера, дежурная сестра уже раздавала лекарства и сделала уколы, пожелала всем счастливого Нового года. А безнадежно больной Берзиньш все криво улыбался и читал «Швейка». Адамсонсу стало стыдно, что он утром угощался соседским изюмом, который так вкусен и богат солями. Это было невыносимо, Адамсонс забился в туалет и, пристроившись на унитазе, вытаскивал сигарету. Курить, конечно, было категорически запрещено, но надо же как-то успокоиться. И струйка дыма медленно поплыла в сторону вентиляционной решетки, в помещении в один квадратный метр тихо урчали канализационные трубы, от пола разлило дезинфекцией. — Я только на обследовании, — подбадривал себя Адамсонс, — на обследовании! Здесь японские врачи и хорошая аппаратура, нет, хорошие врачи и японская аппаратура... Брешет старый. Обследование есть обследование. Адамсонс невольно вспомнил проведенный в больницах месяц: принесенные невесткой апельсины, болгарские соки, боржоми и отварную говядину, а также, как брали кровь из пальца и вены, рентгены, кардиограммы, разные инструменты, трубки и шланги, которые запихивали ему во все дырки. Врачей в белых халатах, уверявших, что еще немного и можно будет хоть на танцы. Они расспрашивали про стул и про сон, назначали уколы и таблетки, и все, чтобы в конце концов перевести сюда. Сын вчера доставил на своем жигуленке, помог вылезти, подарил на Новый год маленький приемничек и на прощанье сказал, что врачей надо слушаться, сама больничная койка, мол, лечит, думал Адамсонс, яростно затягиваясь сигаретой. Нужно только терпение и время,

¹ «Тихая ночь, святая ночь» (нем.). Рождественная песня.

ведь приступов не было с того самого давнего вечера, когда он смотрел телевизор, шел как раз второй период, а результат ничейный, и вдруг неожиданно навалилась боль, показалось — конец . . . Ничего, приехали, накололи, прошло. Язва какая-нибудь или воспаление. Врачи справятся, теперь людям аж сердце меняют. А Берзиньш просто сам расстроен, всякой ерунды, по больницам валяясь, напридумывал.

Берзиньш все читал. Адамсонс достал из тумбочки приемник. Зазвучала эстрадная музыка. В тумбочке лежала и фотография вучки — Линдочка улыбалась, на головке красовались белые банты словно большие бабочки, к нарядному платьицу только что приколоты октябрятская звездочка. По краю карточки неуверенным почерком первоклашки выведены букочки: «Дедуля, поправляйся быстрее! Линда». Адамсонс вспомнил озорницу, и на душе потеплело. Прошлым летом на даче ее клещ укусил. Кровопийцу немедленно отодрали, но семья еще долго переживала, не тот ли самый это клещ-переносчик болезней. Адамсонс протянул фотографию через узкий проход между койками.

— Вот, вученька!

— Она не косит слегка? — спросил Берзиньш, пристально изучив снимок.

— Линда? Да что вы!

— Ну, тогда хорошо. Сколько у вас внуков?

— Четверо. Линдочка младшенькая.

— Ах, вот как, — Берзиньш пробубнил и опять принялся за чтение.

— А у вас?

— Что? У меня ни детей, ни внуков.

— Жаль. Детей надо любить.

— У вас большая квартира?

— Три комнаты, две изолированные.

— Теперь одна освободится.

— Как освободится?

— Милейший, что вы из себя героя Малой земли корчите?

Конечно, освободится, — Берзиньш долго отхаркивался в носовой платок. — Вас сюда помирать привезли. Сунули к смертникам, чтобы домашним умирающему утку не подавать, напрасно звучат не травмировать . . .

— Я врача позову!

— На здоровье.

— И позову. Вас вышвырнут из больницы.

— Метастазы уже охватили печень, поджелудочную, кишечник, медленно въедаются в позвоночник. Еще немного, и лопнут нервы, вы станете совершенно беспомощны, потребуется уход . . .

— Замолчите!

— . . . у вас изменится сознание, завопите еще громче, чем сейчас. Начнете рассказывать, что скоро поведете деток на карусели, будете доказывать каждому санитару, что здоровы как огурчик, а на самом деле полны гнили . . .

— В тюрьме вам место! С хулиганами.

— Я, милейший, уже двадцать лет в Сибири отгрохал.

— Вы?

— Покорнейше сообщая, господин оберлейтенант, — Берзиньш наконец-то оторвал глаза от книги, — я тоже ветеран! Воевал в рядах латышского легиона СС².

— И здесь, в этой палате?

— Верно, в ветеранской палате. Знаете, за деньги и не то можно сделать, хотя вечной жизни, конечно, не купишь.

— Так . . . — прошептал Адамсонс, — докатились.

Он долго, долго смотрел на Берзиньша, вместо эсэсовских молний и черепов на пижаме, конечно, красной ниткой вышит лишь номер отделения.

— Татуировку показать?³ — вежливо спросил Берзиньш и лег на бок, облокотив голову на руку. — Первый сорт. Только вот когда войну продули, влип. Schweinerei⁴. Меня как раз по этой фрицевской наколке опознали. Такие пироги.

— Когда?

— В сорок восьмом. Попытались на лодке перебраться к шведам. Нарвались на пограничников. Эх, надо было в апреле сорок пятого в Германию драпать. Да у девочки засиделся, клюкнул, опоздал на лихтер . . . Хотя хорошо, что так. Оказалось, здесь же, у Лиенаи, напоролся он на подлодку, все к рыбам отправились.

— И три года по лесу зверем?

— Да, бандит или лесной брат, как вам угодно. Мне еще повезло. Чуть было вместе с Далманисом не загремел. Далманис был из вожаков лесных братьев. Я как раз шел к хутору, на котором он прятался. «Букас», кажется, назывался. Вылезает из кустов, смотрю, кругом солдаты и истребители. Кто-то выдал. Далманис отстреливался до последнего, знал, что крышка . . .

² Организация этих частей СС, в нарушение международного права началась на территории оккупированной Латвии с 1943 года. В начале части формировались из добровольцев, затем — принудительной мобилизацией.

³ У всех эсэсовцев были татуировки, указывающие группу крови.

⁴ Свинство (нем.)

В конце концов взяли живьем, подвели к начальнику, тот спрашивает, что, голубчик, песенка спета . . . Далманис не ответил, только откусил у чекиста кончик носа. Ловкий мужик был . . . тихим голосом рассказывал Берзиньш. — А парторг разъезжал на дамском велосипеде. Такой крупный, полный детина. Тоже мне, вояка. Думал, бандитов всех выловили, в волости начнется новая жизнь, колхозное строительство . . . На собраниях только и говорил об этом . . . Я, знаете ли, милейший, его из русского автомата, П П Ш, с круглым диском. Только партияе на горку взобрался, небось надеялся, что вниз легко покатится, отдышаться можно будет, да не тут-то было, так и остался в придорожной канаве . . .

— Сволочь, может ты и моего брата убил! — воскликнул Адамсонс, потому что вспомнил себя молодым, стройным, демобилизованным, входящим в родительский двор, на плече вещмешок, в котором болтаются две банки американских консервов и пачка галет, с только что награжденными медалями, в начальных сапогах. Мать всхлипывает, рассказывает, как отец в первую немецкую зиму простыл на лесозаготовках, подхватил воспаление легких и помер, что воруа хорек прошлой ночью загрыз единственного петуха, а Карлиса, старшего брата, в июле сорок первого увели эти, с красно-бело-красными повязками на рукавах айзсарговских френчей. Наплакавшись, мать стала собирать поесть и, сливая картошку, запримечала, что нечего было старшему бегать по митингам в первый советский год, помогать на выборах и проводить земельную реформу. Они ведь не помирились с голоду. Да Карлис больно умный, все говорил, ничего плохого я не сделал, меня не тронут, я же не комиссар и не активист, не послушал, когда сказала, езжай с солдатами, что подошли к нашему колодцу напиток, ты в политике вымазался, будет, как в девятнадцатом, с красными разговор короткий . . .

Адамсонс проглатил слюну и выпрямился. Берзиньш протер очки, напялил на горбатый нос и ответил небрежно, словно его спросили, который час или об аппетите:

— Может быть, я здорово стрелял . . . Хорошие стрелки никогда не переводились. Возможно, что и ты пустил в расход моего. Легче стрелять, когда у противника руки связаны . . . Мой брателник офицером был. Пуговицы блестящие ему нравились, приемы да парады на Эспланаде⁵. Хороша Латвия, хороша армия! Два танка и двадцать генералов, свиновод за президента⁶ . . .

— Карлиса убили в лесу вместе с евреями, да еще милиционера, не успел эвакуироваться . . . Расстреляли, как собак, там же в яме и закопали.

— Никогда не смог бы застрелить собаку. Ребенка . . . может быть. А в заложников стрелял. Осуждаете? Был приказ, я и стрелял . . .

— Вечно приказом прикрываетесь!

— Зачем прикрываться? Здесь не Нюрнберг! — отрезал Берзиньш. Меня, милейший, не заставляли и не обманывали. Я был добровольцем. Хотите, скажу, где у меня жидовское золото припрятано. На перекрестке, под большим дубом закопано.

— К стенке тебя надо!

— Да. Да . . .

— Без суда и следствия. Как на фронте.

— Ну, судебных ошибок много было, милейший. Случалось, ошибались и в противоположную сторону. Все мы люди . . . Хотя, когда пришлось долбить вечную мерзлоту по лагерям, признаться, я частенько сожалел, что меня не расстреляли, или, по крайней мере, не повесили, как Екельна⁷.

— Теперь с вами покончено. Навсегда.

— Да и вы долгие несколько месяцев вряд ли протянете. Опухоль в брюхе хуже, чем пуля в सब.

— Я тебя, я тебя . . . — повторял Адамсонс и жаждал только одного — почувствовать в ладони тяжесть оружия.

— Ну, что ж ты? Побежишь доносить? Пока разберутся, я трижды успею в тепле помереть. Сил у тебя хватит разве что самому до горшка доташиться. Лучше послушай радио, может объявят посвященную тебе песенку.

— Неважно. Мы победили. На свалку истории всех вас! . . .

— Болтовня! — Берзиньш, издеваясь, размахивал газетой словно флагом. — Ты только почитай! Выпустят на вас всех какой-нибудь «першинг», за семь минут долетит от Западной Германии, останутся одни дымящиеся развалины, радиацией еще всех подлечат, и не будет маленькой девочки Линды, такой послушной, такой старательной . . .

— Заткнись! — закричал Адамсонс, вскочил, второпях или от волнения никак не попадая ногой в войлочный тапок.

— Правда, забавно, ты такой хороший и правильный, проживший такую честную жизнь, кавалер орденов, а я — убивец

⁵ Площадь в Риге. Теперь — Площадь Коммунаров. Традиционное место парадов армии Латвийской республики.

⁶ Президент Латвийской республики К. Ульманис был дипломированным специалистом сельского хозяйства.

⁷ Ф. Екельнс, генерал СС. За совершенные на балтийских территориях преступления был после войны осужден и, вместе с ближайшими сообщниками, публично казнен в Риге.

и иуда... Но оба умрем в ужасных муках от одной болезни. Где тут справедливость!

Адамсон уже схватился за дверную ручку, когда его настиг вопрос: — А вас похоронят на кладбище Райниса?⁸

Коридор тянулся на всю длину огромного корпуса клиники. Дежурное освещение отражалось на свеженатертом линолеуме и на мясистых листьях посаженных в кадки фикусов. Адамсон сделал несколько шагов. Как раз напротив, на стенде санитарного бюллетеня, были вывешены советы, как уберечься от гриппа и его осложнений. Но Адамсон, оперевшись о подоконник, мысленно видел березовую аллею и внушительный гранитный памятник в ее конце, в самой середине кладбища. Будет играть духовой оркестр, гроб у него будет красный, как у Яниса, много венков, цветы, а до этого — в газете некролог, где написано: родился в семье безземельного крестьянина, воевал, был на хозяйственной работе, после ухода на пенсию активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи. И подпись — группа товарищей. Процессия двинется вперед и, не дойдя до Райниса и Аспазии, свернет на боковую дорожку. Адамсону почему-то казалось, что это будет весной, иначе земля была бы слишком сырой и стылой, могильщикам круто пришлось бы. Адамсон наконец отдышался. Жгучая боль в груди понемногу угасала. Он ступал по тихому, словно вымершему коридору. Стеклопанель кабинки дежурной сестры пуста, двери ординаторской закрыты. Адамсон вошел в кабинку. Пульт с выключателями, телефон, какие-то графики на стене и надежно запертый шкаф с лекарствами. На столе в вазе еловая веточка и яркие бессмертники, рядышком — забытая губная помада. Адамсон опустил в вертящееся кресло у пульта. Взял телефонную трубку, набрал номер.

Долго раздавались протяжные, одинокие гудки. Наконец кто-то ответил, раздался чужой глухой голос.

— Будь здоров, старина!

— Добрый вечер... — протянул Адамсон, — Ивара, будьте добры.

— Ивара? Моментик, — сказал чужой, и Адамсон услышал крики: «Ивар, эй, Ивар, тебя к трубке!»

— Слушаю! — через какое-то время отозвался сын.

— Это я!

— Привет, папаша! У нас тут гости. Поздравляю тебя с Новым годом и здоровья желаю, здоровья! — болтал Ивар, и Адамсон догадывался, что тот успел захмелеть, уж слишком старательно выговаривал отдельные слова, уверял, что скоро они опять будут все вместе, вся семья, еще Адамсон слышал дальний гул разговоров, гам и музыку.

— Ивар, у меня рак? — он оборвал сына на полуслове.

Теперь в трубке звучали только шум и музыка, иногда даже можно было разобрать слова припева.

— Отвечай! — настаивал Адамсон.

— Рак? У тебя? — наконец вымолвил Ивар, казалось, он шептал. — Кто сказал тебе эту чушь? Какой рак, язва, слышишь, язва, ты нас всех переживешь...

— Тогда почему ты меня держишь в больнице?

— Как маленький, честное слово! Почему, почему... А процедуры, укольчики, этого же дома не сделаешь...

— Ты уснул меня умирать! — голос Адамсона звучал сурово, казалось, что и усталость прошла. — Послал умирать, а сам запустил свою шарманку, да так, что у меня аж здесь барабанные перепонки лопаются.

— Ну, папуля! Новый год ведь. Еще двадцать минут осталось. Дети так долго ждали, наряжали елку... Опомившись, Ивар заговорил увереннее. — И вообще, чего нам грустить, ты поправляешься, все идет к лучшему, скоро будешь дома. Мара спекла торт, с безе, завтра принесем тебе кусок, эх, тебе нельзя, ну, ладно, у нас другой гостинец приготовлен.

Адамсон бросил трубку. Больше всего ему сейчас хотелось отхлестать сына по его жирным, блестящим щекам. Отъедся, бугай, к супу по две ложки сметаны кладет, копченое сало ломтиками режет, в палец толщиной. Врун, это у него еще с малочинства.

Встав, Адамсон осмотрел себя в настенном зеркале. Шея в вырезе казенной пижамы выглядела ужасно тощей, когда он глотал, кадык так напряженно дергался в горле, что казалось, вот-вот разорвет кожу. Адамсон ощупал щеки, стал рассуждать, что не мешало бы принять ванну и побираться, что привитым яблонькам сейчас в саду трудно, как они перенесут мороз, как дождутся весны. Сад наверняка погибнет, а остальным и забот мало, лишь бы повесить гамак между стволов, да осенью шафрановку на компот обобрать.

Адамсон пошел назад в палату. Больничного персонала нигде не было видно, в пустоте лишь раздавалось шарканье его шлепанцев.

Адамсону казалось, что он успокоился, и если что-нибудь и волновало его, то разве только тихая ненависть и зависть к Андрею Упиту, Уинстону Черчиллю или к абхазским должностителям, столь браво танцующим по телевизору с серебряными книжками за поясом. Адамсон чувствовал себя так, словно его вывели на опасное боевое задание, с которого не суждено вернуться, он смело идет вперед, только вперед, провожаемый взглядами, полными уважения и восхищения.

Свет в палате был выключен. В ответе окна Адамсон разглядел Берзиньша, лежавшего на спине с вытянутыми ногами. Одеало натянато до подбородка, дыхание очень тихое и равномерное.

— Эй, Берзинь! — прошипел Адамсон.

Никакого ответа.

— Проснись, подлец!

Берзиньш и ухом не повел.

А радио передавало новогоднее обращение к народу. Динамик транзистора делал звук уродливым и визжащим. Адамсон встал у окна. Уже были слышны куранты и бой часов на Спасской башне. Окна жилых домов вдали ярко освещены, когда стихли часы, со многих лоджий в воздух взвились сигнальные ракеты. На улице толпился народ, то тут, то там вспыхивали огни. Люди обнимались, поздравляли друг друга. Криков «Ур-ра!» Адамсон, конечно, не слышал, он только заметил, что дорожки к больничным воротам совсем замело, а снежная шапка на уродливой металлической скульптуре в конце площади быстро увеличивается словно слой взбитых сливок на невесткиных тортах.

Адамсон взял свотворное, налил из крана в стакан теплой воды и проглотил ежевечернюю дозу ноксирона. Подумал, что за последние месяцы наловчился довольно легко проглатывать таблетку любой величины — весь фокус в том, чтобы поместить ее на самый кончик языка и с добрым глотком жидкости одним махом, на одном дыхании отправить в пищевод.

По радио уже передавали праздничный концерт. Берзиньш лежал смиренно, как контуженный, а Адамсону захотелось курить. На этот раз он не колебался. В его положении пачкой больше или меньше — действительно смешно. В уборной зажженная лампочка разогнала компанию больших рыжих тараканов. Насекомые в панике попрятались в щели у труб центрального отопления. Адамсон нетерпеливо зажег спичку. Первая затыжка, как всегда, самая приятная, он затыкнул еще раз и присел. Слегка закружилась голова. Сигарета дымилась, а Адамсон невольно разминал живот — нет, не болело. Он смотрел в кольца дыма и почти осязаемо почувствовал под ребрами прохладные руки медиков, прощупывающих печень, звучали мудреные слова, когда врачи, перебирая цветные снимки, обсуждали внутренности пациента Адамсона, он же сам, растянувшись на кушетке, смотрел в потолок. А во рту этот отвратительный вкус каши, и вот-вот врач-рентгенолог скамандует из-за бронированной свинцом перегородки: «Глотайте, ну, глотайте же!» Он послушно начнет глотать, будет давиться и мучаться в судорогах рвоты, как в ту зиму, когда оглушенный взрывом лежал в яме на черных комьях смершейей земли и сквозь пот и слезы промелькнула санитарка в валенках и полушубке, да, да, в валенках и полушубке, это Адамсон точно запомнил. Девчонка спешила на помощь раненому, неподалеку разорвалась фашистская мина, и санитарка с развороченным осколком животом рухнула на снег, а у него — ни царапинки, только слабость, тошнота и уши заложены, через месяц в госпитале все прошло. Теперь он опять немощный и разбитый, вокруг него еще какое-то время поснуют стервятники в накрахмаленных халатах, порассуждают мудро, успокаивать будут, потом уложат на стол, разрежут и подпишут бумажку, чтобы в завершение всего надеть на него парадный костюм, оставшийся висеть в шкафу со всеми орденами и медалями на отворотах. И еще Адамсону припомнился соседский парень, рассматривавший его награды. Тот здорово пил, а водку себе и зеленый горошек для матери покупал в том же магазине для ветеранов, куда и он сам ходил. При встрече на лестнице у почтовых ящиков парень нагло ухмылялся прямо в лицо, с издевкой говорил, все вы, кто в живых остался, и рейхстаг брали, и Жукова видели, одним словом, человечество от чумы спасали... Адамсон облизнул губы, ему опять стало ужасно неловко и противно, потому что тогда, после его криков о сопляках, у которых материнское молоко на губах не обсохло, о малолетних хулиганах, кому место только в колонии, этот парень вздернул свою майку с английскими надписями на груди, показал изуродованный шрамами бок и сказал, что отцы и деды, может быть, как в леснях поется, и защищали Родину, а вот во имя чего он получил пулю в бок, неизвестно.

Адамсон смотрел на эти шрамы, на покрытые тоненькой пленкой кожи узловатые швы. У него таких не было. Только две контузии и простреленная у Блидене⁹ нога, столь мерзко ноющая осенью, да болезнь, осточертевшая болезнь. Это она надела на него

⁸ На этом кладбище хоронят людей, имевших большие заслуги перед народом и Коммунистической партией.

⁹ Место кровавых боев в «Курземском котле».



фланелевую униформу, уложила в постель и изводит уже третий месяц. Вся жизнь — от обхода врача до тихого часа, от газетного киоска до прихода посетителей, от одного проспиртованного клочка ваты до следующей инъекции. Адамсонс смотрел на потрескавшуюся краску дверей, слушал бульканье воды в бачке и думал, что выбор у него невелик — выкурить еще одну сигарету или лечь в постель, вот и все.

В палате Адамсонс сполоснул вспотевшее лицо. Играло радио, но людей на улицах уже не было. Лишь перед домом, разметая снег, кружила метель. Среди сугробов одиноко сверкала елка с неоновой звездой на верхушке. Адамсонс глянул через плечо. Укутанный сумерками, Берзиньш по-прежнему неподвижно лежал с вытянутыми вдоль тела руками. Этот образина прав: набери он сейчас 02, так на том конце провода подумают, что даденька в гостях перебрал, да еще вежливо спросят, не поймал ли гражданин заодно и рейхсляйтера Бормана... Вспомнились недавние рассказы Берзиньша — о расстреле, татуировке, о ракетах, которые за семь минут долетят до Риги и накроют всех крышкой, одной большой общей крышкой гроба. Завтра же он проснется и за чтением газет опять будет издеваться, может быть позовет сестричку, дождется укола и начнет любезничать с девчонкой в белой шапочке, медсестра опять будет смеяться, скажет, что пока незамужняя, не такая она дура, чтобы бегать к первому встречному... А вечером Берзиньш, перелистывая книгу, начнет спрашивать о самочувствии, допытываться, не ползет ли боль по животу, не гложет ли сердце, а затем добавит, что он, Адамсонс, смертник, которому на этом свете уже ничего не осталось...

Адамсонс встал и внимательно посмотрел на спящего. Губы Берзиньша вытянулись узкой полоской, руки покоились под одеялом, а веки спрятались в тени бровей. Адамсонс протянул ладонь, словно хотел встряхнуть его за плечо. Передумал, так как сообразил, что этот лысый старик в кровати не соврал, он действительно слаб и дряхл, в небитые ушел парень Мартыньш Адамсонс, который играючи перекидывал мешки с мукой и ящики боеприпасов, дрался на танцульках, мог не спать сутками. Теперь ему тяжело даже сумку поднять, кабина лифта важнее автомобиля. Не надо будить Берзиньша! Нельзя, как бы и ни хотелось увидеть в его глазах ужас, такой же, как у фрицев, вылезавших с поднятыми руками из подвалов, сдававших свои фаустпатроны и, на чем свет стоит, ругавших фюрера.

Мгновением поколебавшись и почему-то вспомнив, что Берзиньш тоже бегает электробритвой, Адамсонс взял со своей кровати подушку, взбил и, набросив ее на лицо спящего, навалился на него всей своей тяжестью, безжалостно давил на голову врага, как в рукопашной, со всей силой, сколько оставалось в мышцах.

Радио играло взахлеб. Прозвучала одна веселая песенка, другая. Адамсонс почувствовал ручейки пота на висках, подступила тошнота. Задышавшись, он коленями забрался на кровать и продолжал жать на подушку занемевшими уже руками. Чудилось, что-то скребется вдали, в темноте дрожит нога Берзиньша, дергается и сразу замирает. Играло радио. Сердце бешено билось в такт быстрому ритму барабана, а Адамсонс раздумывал, как долго может выдержать затянутый в омут утопающий. В его сознании колыхались водоросли, промелькнул покрытый илом камень, резвилась мелкая рыбешка и отражалось песчаное речное дно, как давным-давно, когда с другими мальчишками нырял на спор.

Наконец Адамсонс сдался. Пытаясь встать, он чуть не завалился в кровать Берзиньша. Положил свинцовой тяжести подушку на место, сел и жадно глотнул воздух.

Берзиньш не двигался. Вдруг вспохватившись, Адамсонс встал и, склонившись над лежащим, прислушался — дыхание не чувствовалось! Голова Берзиньша теперь была повернута к стенке, рот полуоткрыт, как у карпа на суше. Адамсонс нащупал в кармане нитроглицерин. Есть правда на земле, подумал он и засунул таблетку под язык.

Теперь надо позвать врача, пусть сообщит, Адамсонс усмехнулся, представив, что его скоро будут судить и, учитывая заслуги, биографию и награды, присудят пятнадцать лет строгого режима. А когда-то получил бы орден, хотя бы и звездочку. Адамсонс резко рассмеялся. Замолчав, услышал по радио юмористическую передачу. Нет, доктора звать не буду, решил Адамсонс. Все ж таки праздник. Новогодняя ночь. Чего зря шуметь. Завтра утром перед пересменкой пойду и скажу, интересно оставить ли здесь или сразу повезут в тюремный лазарет?

Адамсонс залез под одеяло и, протянув руку, выключил музыку. Еще подумал о детях и внуках, об ударе, который их ждет, и о подушке, этой жесткой подушке под головой, потому что с ужасом сообразил, что не знает, не хранит ли наволочка под его щекой отпечаток лица Берзиньша. Адамсонс из последних сил хотел оттолкнуть подушку в сторону, но опоздал, так как неуклюже провалился в черную липкую пустоту.

Его разбудили шаги по палате. Бесстыже ярко горела лампочка под потолком. Было раннее зимнее утро. Рядом суешились взволнованная медсестра и врач, молодой мужчина, которому, видимо из-за возраста, выпало дежурство в праздник. Адамсонс резко сел на кровать.

— С Новым годом! — сухо произнес врач и приподнял вверх веко Берзиньша.

— Доктор... — испуганно и воспросительно промолвила сестричка.

— Все, — ответил врач и повернулся к Адамсонсу. — У меня просьба, встаньте, пожалуйста, Наташа поможет вам перебраться в двадцать седьмую палату. Она не занята...

— Доктор, это я виноват, — прервал Адамсонс. — Я! Такие люди не должны жить...

— Не могут, не могут... — тихо поправил доктор.

Спустив ноги через край кровати и засунув ступни в тапки, Адамсонс взглянул на покойника. Одеядо было отброшено в сторону, и рядом с трупом Берзиньша он увидел амулы. Амулу было много, и они весело сверкали при свете лампочки, словно елочные украшения. А в застывшей ладони Берзиньша был шприц, игла все еще сквозь штанину вливалась в ягодицу. Адамсонс отвернулся, с трудом преодолевая тошноту.

Вскоре Адамсонс в двадцать седьмой палате полоскал у раковины рот и чистил щеточкой вставной зубной протез. Медсестра принесла вещи. Сквозь дверную щель Адамсонс видел, как санитар покатил в сторону лифта покрытую простыней каталку. Из-под ткани высовывались ноги в красных носках. Вошел врач, его руки пахли мылом. Врач прослушал сердце, измерил кровяное давление.

— Доктор, какие у меня анализы? — спросил Адамсонс, поправляя рубашку.

— Ответы будут после праздника, — ответил медик. — Я думаю, ничего страшного. От жирного мяса, правда, придется отказаться, да и курение следует бросить, договорились?

— Но это ведь раковая больница.

— Да, онкологическая, — подтвердил врач, — вас сюда поместили, чтобы уточнить диагноз. Компьютерным томографом. Большая редкость, западногерманский, за него золотом платили... Этажом ниже лежала пациентка, ей надо было прооперировать вросшие ногти. Попросила, и прооперировали. Мелочи. Не думайте о глупостях. Сегодня будут передавать хоккей из Канады, все идет своим чередом, не мне вас, старого солдата, учить...

— Я был снайпером! Первоклассным снайпером. Еще сейчас очки не нужны. Помню, раннее утро, над речкой туман, смотрю, на другом берегу фрицевский солдатик с котелком в руке, ишь, водички захотелось. В прицеле лица не разобрать, так далеко... Взял на мушку, затаил дыхание, потихоньку спустил курок... Готово! Плюхнулся в речку покоритель мира!

— Да, сказал доктор, — вам бы книгу воспоминаний написать.

— Знаете, доктор, — тихо продолжал Адамсонс, — один у меня все же удрал. Добрался я до настоящего... Настоящего душегуба. А еще латышом назывался... Тряпка. Покончил с собой, знал, что кара неминуема...

— Ничего, — врач легонько похлопал больного по плечу. — Слава богу, война кончилась 9 мая 1945 года.

— Ни черта, — Адамсонс вздохнул. — Сколько еще парнишек после девятого мая на старых минах подорвалось.

После ухода врача Адамсонс долго лежал в постели и думал, что боли были один-единственный раз. Он бодр и полон сил, все эти разговоры о болях и страданиях — ерунда. Через неделю, самое большое — через две, он будет дома, дни станут длиннее, до весны совсем недалеко, надо будет вырезать лишние побеги у яблонь. И книгу не мешало бы написать, пусть молодые знают, как все было на самом деле. Сколько крови пролито, какие трудности пережиты. Двадцать миллионов, вот она, цена победы.

Из коридора слышался обычный утренний шум. Близилось время завтрака. Адамсонс встал и увидел в окно, как трактор большой лопатой сгребает сугробы, освобождая дорогу к большому воротам. Снегопад кончился. На улице виднелись одинокие темные силуэты пешеходов. Адамсонс вспомнил, что после обеда в эти ворота войдут сын и невестка Мара, учительница, принесут в сумке гостинцы. Еще немножко терпения, и он сам выйдет через ворота, чтобы сесть в теплую кабину жигулей и ехать домой. Черт с ними, с докторами, по такому поводу можно и рюмочку опрокинуть, закусить масленком собственного посла. А Берзиньш будет лежать в морге, его похоронят за государственный счет или, возможно, отдадут студентам, пусть ребята режут и учатся людей лечить.

О событиях Новогодней ночи он в этот момент забыл, так как вошла сестра со стерилизатором в руках, велела лечь на живот и спустить штаны. Адамсонс подчинился без возражений. Он хотел быстрее выздороветь.

Летом 1937 года имя латышского писателя революционера Линарда Лайцена пополнило список жертв массовых сталинских репрессий. В Москве он прожил почти пять лет, активно участвовал в процессах становления советской культуры, был делегатом I-го съезда писателей СССР, выступив на нем с речью: «Фольклор — наше литературное наследство», не потерявшей своей значимости и по сей день. В те годы имя Лайцена уже известно советскому читателю — с 1932 года, когда писатель вынужден искать политического убежища в СССР, в Ленинграде на русском языке изданы несколько сборников его рассказов и даже Собрание сочинений в пяти томах.

До этого — активное участие в революционном движении латышских рабочих и крестьян, сотрудничество в левой прессе, постоянные преследования со стороны органов буржуазной власти. Хотя в революционном движении писатель принимает участие уже с 1905 года, свою миссию литератора-революционера он начинает сознавать только с 1917 года. До этого его художественные произведения традиционны, уровня лучших образцов латышской прозы и поэзии — чувствуется школа таких мастеров как Рудолфс Блауманис и Анна Бригадере. Позже приходит увлечение Маяковским, вхождение Лайцена в среду мировой революционной литературы. Появляются стихотворения-лозунги, доминируют формы свободного стихосложения. Но вместе с тем создается и перевод финского народного эпоса «Калевала», остающийся непревзойденным и по сей день. Высшим же достижением Лайцена в лирике признается написанный в 1922 году, нетрадиционный по тем временам сборник любовной лирики «Хо-Таи», также не лишенный социальных мотивов.

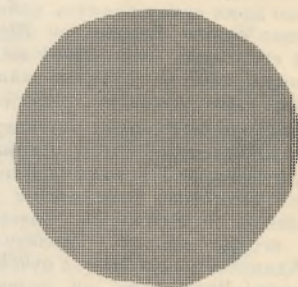
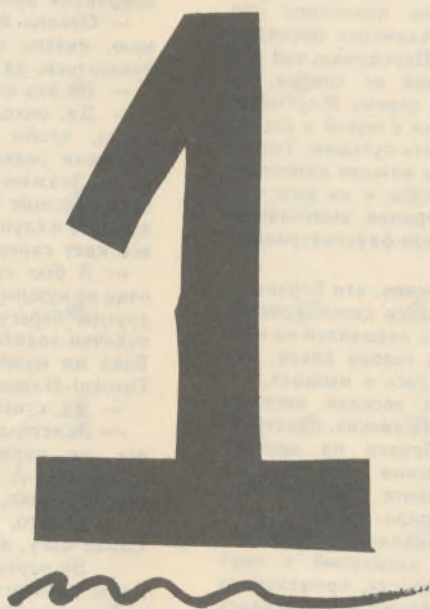
МАРИС МЕЛГАЛВС

ЛИНАРДС ЛАЙЦЕНС

из сборника «ХО-ТАИ»

НА ЛЮБЕКСКОМ ГЛАВНОМ МОСТУ

На Любекском главном мосту,
Где гулко шаги пешеходов
Над темной рекой раздавались,
Где пригоршни света с дождем
Швырял обезумевший ветер, —
На Любекском главном мосту,
Где автомобили сновали,
Где с сеном тащились телеги,
Где лампочки тускло горели, —
Стоял я один на мосту
Продрогший и руки в карманах.
По рельсам трамвай скрежетал,
Гитара брэнчала в трактире,
И пять фонарей темно-красных
Я видел в окне кабае:
Об огненной пляске матросской
Мне думалось в стужу невольно
На Любекском главном мосту,
Стекали дождинки за ворот,
Холодные волны плескались,
Тлел уголь в прожорливых топках,
Бил запах изысканный в ноздри —
Глаза заволакивал дым,
Валивший из труб паровых,
И узкие вымпелы вились
Над тонкими мачтами шхуны.
Тяжелые баржи с дровами
Толкались, цеплялись бортами,
Буксиры вдоль стенок гранитных
Сновали и сыпали искры.
И кранов увядшие руки
Усталостью были налиты.
И брел кочегар вдоль перил,
Шатаясь. Шагали солдаты,
И посвист звучал разудалый
На Любекском главном мосту.
О, как эта ночь безысходна:
Ни успокоенья, ни вести, —
Я сам был той ночи подобен,
Я сам был одно ожиданье.
Но брезжило утро надеждой:
Не помню, чтоб мне доводилось
Ждать женщину так исступленно
С архитектурным чувством,
Что впаян я в Любекский мост.



РАННИМ УТРОМ

Осенним утром ранним чуть земля подмерзла,
И узкий меч зари в глаза ударил.
Тот там, то здесь затеплились окошки:
Служанки на ногах, их сон недолог.
Ночные сторожа домой тащились.
Кто с инструментом, кто с котомкой хлебной —
Рабочий тощий люд шел спину гнуть.
Телеги с разной снедью грохотали,
И свежий смрад словес печатных наполнял киоски.
Перебежал дорогу пес, порожняком извозчик,
Ночь отработав, к дому направлялся.
Мыча, гуляка брел из ресторана,
Шел поезд по мосту с негромким стуком:
Белей и легче облаков рассветных
Был пар, валивший из ноздрей машины.
Вдоль берега мы шли: Ты, я и наша ночь.
Сеть вытащил рыбак из темной глубины —
Вода речная стыла на ладонях,
Но рыба вдруг сверкнула чешуей —
И будто вновь заря мечом взмахнула.

ХО-ТАИ

Хо-Таи, мой бесценный друг,
Чайная роза — имя Твое,
Горного сада запах и звук.
О, вездесущ этот запах земной,
Пусть он вечно будет со мной,
Хо-Таи.

Хо-Таи, мой бессмертный друг,
Я расцветаю вместе с Тобой,
Вместе с солнцем свершаю круг,
Непостижим Твой облик земной,
Пусть это вечно пребудет со мной,
Хо-Таи.

ИСКАЛ ТЕБЯ Я

Искал Тебя я, Хо-Таи,
Мой друг, в том нашем городе вчерашнем,
Где кроны помнят наших рук касанье.
Искал Тебя я, Хо-Таи.
В том городе, где запахи кофеен,
Прохлада винных погребов у сквера.
Искал Тебя я, Хо-Таи,
В толпе и меж извозчичьих пролетов,
Под сводами мостов и виадуков,
У складов и меж рыночных повозок.
Я обошел суда, излазил трюмы,
Я сторожил тебя у входа в гавань,
Грузили там мешки с яванским кофе,
У лавки, где хранился чай китайский
В соседстве с изваяниями Будды.
Проник в оранжерею к орхидеям
И растерялся, этот дивный запах
Мгновенно мне Тебя, одну, напомнил.
По лестницам домов многоэтажных
Взбегал и задавал вопрос напрасный.
Искать Тебя в музеях, вернисажах,
Театрах, кинофильмах, даже в цирке,
На сцене, за кулисами, под гримом,
Под маскою Пьеретты, Колумбины?
Я изучал картины, гобелены,
Портреты старые и статуэтки.
Я бросился на митинги и в бури —
Кричат: «Долой!», не твой ли слышу голос,
«Да здравствует!» услышу ль для себя?
На башни я взбирался: вдруг увижу
Средь серых старых крыш Твой цвет зеленый,
В толпе идущих — ног Твоих мельканье,
Земных и вечных линий красоту!
В тот смертоносный день, когда повсюду
Искал тебя упорно и впустую,
Я потерял себя и постепенно
Стал исчезать сквозь вещи, бег и время,
О, так искал я Хо-Таи.

Я ИМЯ НАЗЫВАЛ ТВОЕ ПОВСЮДУ

— Я имя называл Твое повсюду —
Вплетался голос в каждый малый звук,
Что выпорхнул, что вылился наружу.
Он в шелесте лесном и птичьей песне,
В рычаньи моря, в завываньи ветра,
В военном марше, в орудийном гуле.
Сквозь гром машин кричал я, сквозь гудки,
Сквозь океанских кораблей сирены:
Промчался поезд — с именем Твоим!
Я имя называл Твое повсюду —
И в детском вздохе, и в безмолвьи слез,
В стенанье приглушенном, в громкой песне.
В могуществе оркестров и симфоний
Горели звуки — с именем Твоим.
Я имя называл Твое повсюду —
Ответа не было.
И я все звал —
Взбирался в гору и бросался в пропасть,
Пусть бездна встанет и взметнется имя —
Хо-Таи!

РАДОСТЬ И БОЛЬ

Да будешь Ты —
Без ожидания не жить мне.
Что же — запреты признать,
Зная, что бренны запреты?
Вдруг отказаться от счастья,
Зная, что боль неизбежна?
Есть ли — скажите —
На этой земле человек,
Радости миг испытывший,

Не побывавши в беде?

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ХО-ТАИ!

Восстал я из мук и стараний,
Я вышел из мертвого плена,
Мне солнце глаза распахнуло,
Мне ветер ударил навстречу:
Да здравствует Хо-Таи!

Синело огромное небо,
Темнели могучие воды,
И в городе реки людские
Текли к единению, к морю:
Да здравствует Хо-Таи!

И зелень цветущих просторов,
И горных отрогов мерцанье,
И море — все хлынуло в душу.
И мир стал вращаться вокруг сердца:
Да здравствует Хо-Таи!

ПРИГОВОР, ВЫНЕСЕННЫЙ БОЛЮ

Был шаг наш приноровлен и походка,
Мы оба крепко за руки держались;
Но боль смертельная Тобой владела,
Но вечер был простужен и продымлен,
Трещал мой разум, как во льдах
Корабль с пробоиной в днище:
О, неужели Ты одна с той болью?
Наедине — с начала до конца?
Все это предназначено судьбою?
Кричу я: «Приговор несправедлив!
Меч занесен — и я вступаю в битву:
К рассвету выйду из удушья ночи,
Моею ношей станут — Ты и боль Твоя!»

СДАВЛЕННЫЙ КРИК

Останься — тот стон приглушенный,
Тот сдавленный крик рвал мне душу.
Я долго стоял неподвижно
На улице возле витрины.
Ты шла, ненароком взглянула,
Еще раз мелькнула — в зеленом —
Меж черных деревьев бульвара
Зеленым виденьем и скрылась.
Средь чуждых движений и красок
Погасла, как вздох.
Я вскрикнул — все это неправда:
Моя неизбежная гибель!
Останься! Возникни во мне
Из небытия, Хо-Таи.

ТИКИ-ТИКИ

О Хо-Таи, Ты в желтом —
Пришел рассвет, и утреннее солнце
Тебя будило, раздвигая ветки,
И пенье птиц звучало для Тебя, меня и солнца:
О Хо-Таи, Ты в желтом.
Я перешел пески, теченья переплыл —
Еще прилипли волосы ко лбу,
Еще стекают капли с тела —
Колени преклоняю и дарю
Новозеландский из зеленого нефрита тики-тики
Тем ранним утром,
Хо-Таи.
Колени приклоняю и шепчу слова, что птицы спели,
Высветило солнце и поведали цветы —
Что Хо-Таи бессмертна и — моя.
Колени преклоняю.

АМУЛЕТ

Ты в желтом, Хо-Таи, мы у египетской гробницы Тамахета.
Нет амулета в дар —

и я печален,

Грущу и думаю, что сердолик
пурпурно-желтый с бирюзой сине-зеленой
и альмандин или багрянец яшмы
гармонией своей меня бы объяснили.

Ты в желтом, Хо-Таи, мы у египетской гробницы Тамахета.
Нет амулета в дар —

и я печален

Но выгравирована страсть моя
не в камне драгоценном, а в эпохе,
во времени, где бьется сердце
мое — багряный сгусток яшмы.

Перевела
ЛЮДМИЛА АЗАРОВА

ЯНИС КАКУЛИС

слизывал город снега все больше
дворник сыпал соленым гравием
я из ада неспешно домой шел
элегантно сигарой забавился

лица копытных в глазах мельтешили
ада обитель мифозатяжная
зеркало лифта лай псов-страшилищ
хор вопящий грешников страждущих

дворник сыпал соленым гравием
съежилась сигара кончик усом
Дантово что-то на миг представилось
в сини высокой усмеялся бог

поле зренья скрыто тьмой
лунный пес завыл с тоской

помогу ль ему в затменье
сам давно стал излученьем

поле зренья скрыто тьмой
ах как воет пес хромой

как в венах мака сок густейший
живая кровь гнетет покой и мир
нельзя мне и в тени своей же
остановиться хоть на миг

да-да
мне слишком много знать бы
и потому так быстро старюсь я
но все ж морщины мне разгладить
за утром утро снова зарится

немножко мечты немножко горечи пресноватой
на всех путях по которым я время от времени
иду к тебе где щедрый малинник заката
колышется мир осыпая семенем

на путях-перепутьях
где сверхчеловеки закаменевают
будто стволы обомшело-столетние
и мои семь грехов тебя отец постигают
от поколения первого и до последнего

немножко горечи в темные дни и светлые
мечты — это рай где ворот железных не замечают
на волю выпущенная бежит назад в мои вены
капля крови

с лица твоего печатью

наискось накрест в лицо развеваются
шторы которым скрыть время дано
чтоб в этой пляске ветрам напевающим
было нас повторить вольно

много забыть чтобы и всепоощадно
много творить вновь позволили нам
в масках кружится здесь клоунада
жизнью порой зовется она

редко зовут молчат или смеются
только однажды кабак отворен
шторы настезь вдруг распахнутся
и с висков седеет окно времен

наискось накрест пылко развеясь
смехом ветры нас повторят
я рожденье забыть сумею
бог даст помнить смертный обряд

каждой каплей отдаленней
сходит с рос осенних яркость
бог на облачке беленом
гладит бороду как арфу

жгу я рыжую лучину
и зову
приди
коль есть ты
могут сдуть тебя в низину
ветры как все тучи взмесят

каждой каплей отчужденней
мне земной кропящий дождик
над всем миром
разведен он
дырчатый кармашек божий

Перевела с латышского
ФАИНА ФЕРБЕР

АЙВАРС КЛЯВИС

УТРО

РАССКАЗ

Его разбудили птицы. Они беззаботно распевали, расевшись на ветках и словно соревнуясь между собой. Ошалев, Вилис открыл глаза. Медленно вставало солнце. Даже сквозь плотные занавеси видно было, что за окном начинается прекрасное, прозрачное утро.

«Весна, — подумал он. — Теперь полагается копать землю. Загнать лопату в хорошо унавоженную, жирную землю и копать. Копать без передышки, без остановки. Копать с утра до вечера».

Когда он вспомнил об этом, по спине у него даже этаким странным мурашки пробежали. Мускулы напряглись, он поежился и, вытянув руки, скрестил их поверх толстого одеяла. И довольно долго пролежал, не двигаясь.

А птицы пели и пели, как сумасшедшие.

Вилис завертелся, пытаясь устроиться поудобнее. Сон не шел.

— Ты чего там возишься? — заспанно пробормотала Берта. — Сам не спишь и другим не даешь.

— Это не я, это птицы, — прошептал он. — Слышь, как поют! Но не вовремя разбуженная жена была слишком сердита, чтобы слушать птичье пенье, и потому отрубилась:

— Ну и что?

Он ничего не сказал. Он молчал, набрав полную грудь воздуха и затаив дыхание.

Не дождавись ответа, Берта продолжала:

— Нашел чему удивиться. Подумаешь — птицы! Спи лучше! Засыпай!

Вилис слышал, как жена повернулась на другой бок и вскоре мерно засопела.

— Ишь, как у нее получается, как ей хорошо, а у меня уже давно по утрам сон не идет, — подумал он, осторожно взбил подушку и, как только что, скрестив ладони на груди, какое-то время пролежал неподвижно.

А птицы там, за окном, пели как сумасшедшие, будто спятили от весеннего воздуха.

Лежа, Вилис скучливо оглядывал комнату. На столе валялись шахматные фигурки. Наверно, с вечера, окончив игру, забыли убрать.

Ах ты, Берта, Берта... Кто бы мог подумать, что она на старости лет начнет играть в шахматы. Вилис убынул. Да ни в жизнь! А на позапрошлом рождество жена подарила эту клетчатую доску с фигурками, и только потом он уразумел, насколько это был тонкий ход. Это был, прежде всего, точнейший расчет — подарок есть подарок, нужно же хотя бы из вежливости проявить к нему интерес. Условия игры Вилис кое-как знал, а Берте того только и требовалось. Уже давно она на таких вещах была просто помешана.

Поздно Вилис вспомнил, как они вдвоем играли в молодости в рич-рач. Прямо дурели от игры. И Берта обычно впадала в такой азарт, что все на свете забывала — невыразимо радовалась каждой победе, а при проигрыше возмущалась до глубины души, как настоящий игрок. Тогда Вилису и в голову бы не пришло, что на закате дней старушка потянется к таким интеллектуальным высотам, как это измышление древних индусов. Но по вечерам все равно больше делать было нечего, и вот они зажигали в большой комнате свет, садились к столу и играли в шахматы.

Сперва Берте не слишком везло. Она сердилась на Вилиса, упрекая, будто он нарочно ей всего не рассказывает, таким образом дурача и обманывая ее, чтобы самому выиграть.

Вилис гордо отвечал:

— Очевидно, эта игра не для тебя, чтобы в эту игру играть, голову иметь надо.

Жена сердилась еще больше.

Но со временем она понемногу наловчилась. Глядь — и обыграла мужа, и опять обыграла. Радовалась, как дитя.

И вот они садились по вечерам за стол, как равные партнеры, и зажигали свет в большой комнате, и играли в шахматы.

Сперва Вилис ничего не замечал, а потом сообразил — дело нечисто. Странно — Берта, когда ей не везет, сразу же на кухню несет — то за валерьянкой, то вроде напиток. Что-то тут было не так. На основании этих подозрений он как-то тайком учинил маленький обыск. И, кто бы мог подумать, — нашел между пакетами с мукой две книжки: «Тайны шахматной игры» и «Советы юному шахматисту» Розенбаха. Вторая — пустяковая брошюра, но все равно. Ишь, откуда ум-то берется. Ах ты, старая хитрая змея. Маясь бездельем, литературу приобрела! Сперва Вилис рассердился, но потом перешеголял жену, выписав себе журнал «Шахматы и шашки». Запрятав его в какой-нибудь толстый журнал, Вилис читал издание на глазах у Берты, и это страшно его веселило.

Так они жили.

По вечерам зажигали свет в большой комнате и, сев друг против друга, играли в шахматы.

Взглянув на фигуры, Вилис почувствовал странную дрожь. То ли холод, то ли нет, а зубы застучали. Что с ним этим утром творится?

Он забрался поглубже под одеяло, и тут ему пришло на ум, что надо бы спросить Берту про Илгвара. Куда бы прохвост мог подеваться? Не случилось ли чего? Если не с самим, то с женой или с детьми. На душе стало беспокойно. Такого иногда наслушаешься... Можно вирус подцепить, можно заболеть, можно в аварию попасть, на работе могут быть неприятности. Да, работа... Но Илгвар гордый. Недавно его назначили инженером в тресте круп-

нопанельного домостроения или в управлении, как это там у них называется. Черт знает что делается в строительстве, особенно в последнее время, всем известно — строители бьются как рыба об лед. Кто в это дело полез — несчастный человек. Сделав этот вывод, Вилис нервно заворочался, не выдержал и, наконец, тихо позвал:

— Берта! Слышишь, Берта!

Никакого ответа.

Опять:

— Берта! Слышишь, Берта!

— Что еще? — заспанно спросила жена.

— Когда Илгвар приходил в последний раз, он тебе ничего не сказал? — хотелось знать Вилису.

— А что такого он должен был сказать? — не поняла жена.

— Ничего, но мне пришло в голову, что, может, с ним что-то случилось.

— Да ну тебя! Что с ним случится!

— Его давно не было. Может, он сказал, когда опять придет?

— Не сказал, — сердито проворчала Берта. — Нашел о чем беспокоиться, а я бог весть что подумала.

— Жаль, — пробормотал Вилис и, задрвав подбородок, закрыл глаза.

— Одурил, что ли? Что тебе с утра мерещится?

— Ничего. Спи ты, спи.

— Ах ты, старое чучело! Теперь ему — спи! — жена понемногу накалялась. — Теперь — спи, когда дважды ни с того ни с сего переполошил.

— Ничего. Спи ты, спи, — повторил Вилис, не открывая глаз.

— Говоришь человеку . . . нашелся . . . спи . . . сам лучше спи, бормотала про себя Берта, но все же повернулась на другой бок и натянула одеяло на голову.

А птицы за окном продолжали петь, продолжали петь как ошалевшие от прозрачного весеннего воздуха. В щелку между занавесками пробивались сверкающие солнечные лучи. И ровно жужжала, ударяясь о стекло, непонятно откуда взявшаяся муха.

Когда Илгвар поступил в строительный техникум, это казалось Вилису само собой разумеющимся. Работа как работа! Почтенное ремесло, порядочный и работающий парень, будет строить дома и обязательно выйдет в люди. Тогда их окраина считалась основательным захолустьем. До ближайшей автобусной остановки — пятнадцать минут ходу. Но прошли годы и поползли слухи, что окраину собираются превратить в район новых многоэтажных жилых домов. Сперва Вилис не поверил. Вернее, не хотел верить. Тогда появились первые башенные краны, первые панелевозы, и хочешь не хочешь, а поверить пришлось. Понемногу строительство приближалось. Наконец, в семьдесят третьем стало ясно, что и их дом снесут. Муки, пережитые им, Вилис никому бы не смог описать. Иногда казалось, что ему прямая дорога в сумасшедший дом. Ведь всю жизнь мечтал о своем доме. Всем для него жертвовал. Годами строил. Годами? Десятилетиями! Строил своими руками, собственными силами. Медленно, понемногу. Нужно было каждый рубль экономить. Вечно сражаться с нехваткой денег и иногда даже и жить всем впроголодь, чтобы суметь отдать долги. Именно из-за дома Илгвар и поступил в строительный техникум. А что он, ребенок еще, видел, кроме кирпичей, цемента и досок? А когда дом наконец достроили, его обещают снести! Как тут не спятить?

Тогда Вилис и возненавидел строителей. Этот сброд, этих халтурщиков, этих варваров, этих бродяг, которые, вооружившись экскаваторами, бульдозерами и копрами, подбирались все ближе и ближе, оставляя за собой одинаковые коробки из железобетонных блоков.

— Берта, — снова тихо заговорил Вилис, почувствовав, что жена еще не успела уснуть.

— Чего тебе еще?

— Берта, не странно ли, что Илгвар теперь строитель?

Жена сухо крикнула и ничего не ответила, ибо несчетное количество раз слышала этот вопрос.

— Ты молчишь, Берта. Ну, молчи, но мне это кажется странно. Знал бы, что будет, никогда бы не позволил ему поступать в строительный техникум.

— А как ты мог это знать? — отмахнулась Берта.

— Понятно, что не мог, — продолжал Вилис, понемногу разгораясь. — Никто же не знал. Только я, как дурак, верил, что нас,

может быть, не тронут. Я же, Берта, до последней минуты верил, что наш дом не снесут . . . А если бы знал . . .

Он внезапно рванулся вверх, будто собравшись встать, и бесильно упал на подушку. По телу вновь пробежали странные мурашки. Рука, только что лежавшая поверх одеяла, медленно соскользнула с края постели и чуть заметно дрожала.

— Чего брыкаешься, чего брыкаешься, старый, — желая его успокоить, сказала Берта.

— Я не брыкаюсь, — слабым голосом ответил Вилис.

— Еще как брыкаешься! Как это не брыкаешься?

— Но дом, — еще тише пытался возразить он.

— Долго ты будешь оплакивать этот дом? Пора положить этому конец. Годами ничего другого не слышу — дом да дом. Мы же получили квартиру. Получили точно такую, как хотели, и там, где хотели. Чего тебе еще надо?

— Ничего, — согласился Вилис, чтобы не ссориться, но, не утерпев, сразу же добавил:

— И все равно — это был мой дом.

— Ну и что? — отрубил Берта. — Квартира у тебя есть? Есть! И спи!

Жена права. Квартиру они получили в том самом доме, что построили на месте срытого. Иначе Вилис не соглашался. Сперва райисполком дал временную жилплощадь, потом, когда дом построили, они опять перебрались сюда. Раз уж ничего не удалось сохранить, хотелось по крайней мере остаток дней провести там, где были зарыты в землю их лучшие годы, где они трудились и пот проливали, где радовались жизни, которая откроется перед ними, когда они наконец построят свой дом.

И что из этого вышло? Ничего.

Вилису удалось спасти только яблоны.

Там, внизу, под окнами, они цвели так же, как в тот день, когда приползли бульдозеры. Он встал на пути и кричал, что ни на шаг не отступит, что сажал эти яблоны вместе со старшим сыном и, если они хотят уничтожить деревья, то пусть сперва уничтожат его, живого человека. Он стоял, полный решимости, и его крик был громче рева моторов. К тому же яблоны были в самом цвету, и бульдозеристы растерялись. Так он спас деревья. Но потом строители их все же повредили. Иные засохли, у других мальчишки обломали ветки, но недавно он тщательно обпилел оставшиеся, и потому яблоны исправно росли и цвели так же, как раньше, и так же беззаботно распевали, рассеившись на ветвях, птицы.

— Видишь, деревья мне удалось спасти, а Янитиса не уберегли, — сказал жене Вилис.

— Чего там вспоминать, — неясно пробормотала она, очевидно, не желая говорить об этом.

Вилис не унимался:

— Я все помню и, пока жив, не забуду.

— Какой с того прок?

— Странно ты говоришь, Берта. Разве люди что-то помнят только ради прока? Человек помнит потому, что он человек, и потому, что он живет.

— Все равно не стоит. Янитису уже не поможешь. Только сам себе больно сделаешь.

Берта повернулась на спину и, широко раскрыв глаза, уставилась в потолок.

— Да, — продолжал Вилис, — Янитиса мы не уберегли. Честно говоря, из-за этого самого дома, этой самой работы.

— Кто мог знать?

— Никто не мог знать, — согласился он.

— И еще так внезапно, — добавила Берта.

— Да, внезапно. Хорошо хоть, что мы успели посадить деревья.

— Что ты о деревьях — лучше бы о нем думал.

— Я и думаю. Всю жизнь я думаю о нем. И что тогда могло случиться — прямо не понимаю?

— Случилось, и все. Понимаешь или не понимаешь, — резко оборвала разговор жена.

Вилис весь обмяк.

Тогда . . . тогда, когда произошло это ужасное несчастье, он замесил цемент и бетонировал фундамент дома. Потом уже они оба решили, что именно цемент был во всем виноват — ведь Вилис боялся, что не успеет, что раствор раньше времени застынет, потому и Берта пришла на помощь, и они рысцой гоняли тачки по дощатому настилу, опрокидывая жидкий цемент в опалубку. Ви-



лис все время сердился, что Янис удрал в лес, обещался вот-вот вернуться, но все не шел и не шел. Тогда опушка была совсем у дома. Потом кусты вырубил, деревья засохли сами. Занятые работой, они с женой не слышали взрыва. Потом соседи говорили, что было здорово слышно. Но тогда они с Бертой, ни о чем не подозревая, гоняли рысцей тачки с цементом и сбрасывали цемент в опалубку. Когда с криком прибежал одноклассник Яниса, когда Вилис понесся к опушке, было уже поздно. Окровавленный Янис умер у него на руках, по дороге от леса до шоссе. Полуоторванная нога болталась в окровавленной штанине, и ничего не видящие глаза смотрели в темно-синее небо. С мертвым сыном на руках Вилис бежал болотистым лугом, там, где теперь девятиэтажки и новый магазин между ними. Цемент схватился, и Вилис после того несколько дней выбивал его из мешалки. Рубил и ломал, пока наконец не справился и опять мог заняться бетонированием фундамента. Позже, конечно, выяснилось, как все произошло. Как мальчишки нашли гранаты, как хотели попробовать, как две первые не взорвались, как Янис пошел посмотреть, как нагнулся. . . . Потом-то, конечно, все выяснилось, только что с того. . . .

— Слышь, эти птицы и впрямь поют как сумасшедшие, — робко сказала Берта, взглянув на мужа.

— Да, — ответил он. — Уж поют.

— Ты лучше не думай об этом так много. Что было — прошло. Что уж тут поделаешь.

— Я не думаю, — соврал Вилис.

— Вот вы с Янитисом яблоньки посадили. А теперь, видишь, птички расселись, послушай, как поют, — продолжала Берта.

— Да, — согласно кивнул Вилис.

— А у нас еще остался Илгварс. Если бы единственный сын, тогда, конечно. . . .

— Да. Тогда, конечно. . . .

— И целых три внука. Правда, много?

— Да.

— Только не думай больше об этом. И лучше попробуй заснуть, — сказала Берта.

Вилис опять согласно кивнул.

— Я не буду думать.

Белым цветом цвели за окном яблони. И птицы пели за окном. Солнце просвечивало сквозь занавеси и, словно ошалев, все еще билась о стекло и все еще жужжала неизвестно откуда взявшаяся муха.

«Теперь уж не уснуть», — Вилис про себя усмехнулся, хотя этим утром чувствовал себя хуже, чем обычно по утрам. То и дело немелые руки, и по телу пробегала странная дрожь.

Тогда, когда он взялся строить дом, тогда-то он был молод и полон сил. Казалось бы, чего особенного — раз-два, и построили. Все равно у них с Бертой не было другого выхода. Сам только что вернулся из фильтрационного лагеря. Деревенский дом сгорел. Сгорел весь. Брат жены в Сибири, так что получить квартиру никакой возможности. Какую там квартиру, они боялись лишний раз о себе напомнить! Лучше не лезть на глаза, поди знай, что из этого выйдет. Война прямо за порогом. Одни еще гибнут на западе, а другие уже едут на восток. Поэтому лучше сиди и не пиши. Да, страшно тоже было, потому что так получалось, что он не только жил здесь при немцах, но и по-своему служил им. Как все парни его возраста, которых, пригрозив законом военного времени, мобилизовали на работы или ставили под ружье. Некуда было деваться. Потом. . . . потом-то все были умные, а в то время. . . .

Когда война окончилась, они поселились у Бертиной крестной, в девичьей комнатке за кухней. Даже постель, на которой спали, и та им не принадлежала. Позднее Вилис купил маленький шкафчик и стул. Больше в комнате все равно не было места. Два с половиной или три квадратных метра. Примерно.

Крестная была неплохим человеком — не гнала, но сколько можно сидеть у нее на шее. Да еще с ребенком, потому что Янитис тогда уже родился.

Надо было строить свой дом. Самим, свой дом, на месте тех, что сгорели в войну.

В пятьдесят первом, это Вилис хорошо помнил, им дали участок. Как они радовались! Радовались все трое, потому что и Янитис здорово подрос. Думали — построим дом, а тогда уж заживем, и это будет неповторимая жизнь. Они с Бертой ходили хмельные от счастья. Мечтали, что будут делать, когда покончат с домом. В том, что справятся, не сомневались ни секунды. Казалось —

сколько там работы. . . . А что — ничего! Сперва начали резво. Построили временный домик, посадили сад, вырыли котлован, бетонировали фундамент. . . . Потом. . . . Потом — похороны Янитиса. Вилис продолжал работать как одержимый, но чем дальше, тем труднее все давалось. То сил не хватало, то денег. Потому строительство они в сущности завершили уже в конце шестидесятых. Хорошо, что хоть так. И поняли наконец, что все силы, все лучшие годы отдали дому, и назад этого уже никогда не получат. Им было под пятьдесят, но выглядели они гораздо старше. Зато дом готов. Не дворец, но все же свой дом. А потом прибыл бульдозер и то, что они возводили двадцать лет, в несколько дней сравнял с землей.

За окном все еще пели птицы.

Вилис вздрогнул. Этого еще не хватало. И в сердце стало колоть.

— Послушай, Берта, я встану, — сказал он, пытаясь ладонью нашить то место, где вспыхивала острая боль.

— Что с тобой сегодня творится? — не поняла жена.

— Ничего, — прошептал он.

— Так спи ты наконец, и дай мне тоже поспать.

— Я не могу уснуть. Лучше встану и выйду.

— Вот козел упрямый. . . .

— Если нужно, схожу в магазин, постою в очереди. Скажи только, чего купить, — добровольно предложил услуги Вилис.

— Совсем из ума выжил. В шесть утра он пойдет в очереди стоять, — сердито пробормотала Берта.

— Почему бы нет?

— Почему, почему. . . .

— Не дразнись, Берта!

— Как тут не дразниться, если на старости лет совсем сдурел. Какая еще тебе очередь? Там еще никого нет! Магазин только в восемь откроют.

— Ах, в восемь?

— Конечно, в восемь.

— Пока я дойду, пока. . . .

— Не зли меня, Вилис!

— Ладно, ладно, — попытался муж успокоить ее. — Тогда не пойду в магазин. Выйду прогуляюсь. Все равно больше лежать не могу.

— Делай как знаешь, только оставь меня в покое. Только задремала, опять ты спать не даешь.

— Спи, спи, — сказал он, вставая.

— Что еще за мода вставать с петухами. Сам не спишь и другим не даешь, — все еще бормоча, Берта повернулась к стене.

На кухне Вилис сунул под язык валидол. Стало лучше. Тогда он тихо оделся. Когда он снова открыл дверь комнаты, Берта уже мерно посапывала. Только птицы за окном все распевали.

«Вот человек. Что ей делается», — подумал Вилис.

На лестничной клетке было так светло, что глаза слепли. Секунду постояв, он неторопливо спустился вниз. Всюду царил тишина. Люди еще спали. Между четвертым и третьим этажом Вилис остановился, подошел к окну и посмотрел на яблони, которые там, внизу, стояли в полном цвету, и в ветвях у них пели птицы.

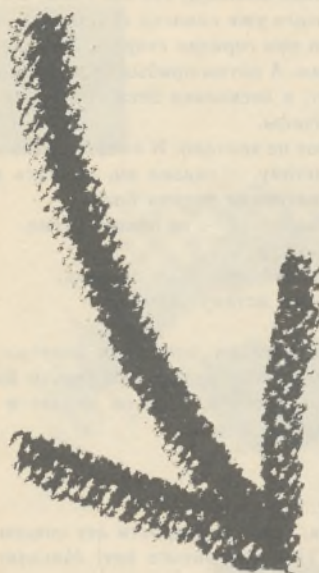
Непонятно почему пришло на ум, что после обеда они с Бертой непременно будут играть в шахматы, и сегодня ему полагается выиграть, потому что вчера он научил интересную комбинацию ходов из журнала. Если он победит, Берта дьявольски разозлится. Ясно, разозлится.

После Вилис во второй раз за это утро подумал, что вот весна и полагается копать землю. Загнать лопату в хорошо унавоженную, жирную землю и копать, копать, копать. Переворачивая плотные темно-коричневые дернины. Он так отчетливо представил себе это, что ощутил в мускулах напряжение. Он копает, и копает, и копает. Земля тяжела. На лице появляются первые капли пота. Вилис стирает их ладонью. Лопата со скрипом входит в землю. Он молод, счастлив, полон сил. Он переворачивает дернину за дерниной. Он копает, и копает, и копает. Не жалея сил, не жалея себя.

В этот миг перед глазами у Вилиса потемнело. Колени ослабли. Как бы нища опоры, он протянул перед собой руки. Ногти проскребли по стене. Падая, Вилис еще ударился лбом о подоконник, но сам этого уже не почувствовал. Так он и остался лежать на холодном цементном полу, в ярких лучах солнца.

Птицы, непонятно чего испугавшись, вспорхнули с яблонь и улетели.

ГРИГОРИЙ ГОНДЕЛЬМАН



Как Леонардо мысленным усилием
Прозрел во флорентийке, как по-женски
Ее губам, как голубиным крыльям,
Дано парить в неведомом блаженстве;

Но рассыпаясь с высоты экстаза
В безумнейшем саду, судимом Босхом,
Разбился свет, пройдя сквозь призму глаза,
На рай и ад, растущие из мозга.

Так в зеркале преподнесенной чаши
Внезапно отразит мои уста
Эпоха, ослепительно чиста
Тугим холстом смирительной рубашки.

Я знаю, принимает это Царство
Того, кто, не дождавшись, вены вскрыл,
Или того, кто в музыке Моцарта
Припомнил пенья серафимских крыл.

СУЧАН

Памяти О. Мандельштама

Я ночью подслушал, как в черных притихших домах
Под плачущий скрип половиц с замиранием сердца
Ходила на цыпочках смерть, как уставшая мать,
Едва спеленавшая на ночь грудного младенца.

До Санкт-Петербурга на тройке три года езды,
Копыта бьют глухо, и тают в ночи колокольцы,
И облако скрыло сиянье далёкой звезды,
Как взгляд прикрывают тяжёлые веки пропойцы.

К востоку легли острова филигранных стихов,
Напротив повисло на древке багровое знамя,
И пахнет войной предрассветная шапка снегов,
Которой войной, я не знаю и вряд ли узнаю.

Я в хлорковых хлопьях тумана безумно продрог,
Смерзается в венах роса в ледяные кристаллы,
И ломит суставы железных имперских дорог
От мерного скрипа гружёных летящих составов.

1984

Клок асфальта в окне. Воспаленно-сонлив,
Я слежу, злые веки слегка приподняв,
Как вливается в пыльную корку земли
Сиромятное небо весеннего дня.

Горьковатым комком день уходит во тьму,
И пластается свет, воплощаясь во плац,
Где прозрачная кожа мертвеет от мук
Под прищуром моих понимающих глаз.

Сквозь мартовскую наледь
В помёте голубей
Столицы разминали
Суставы площадей.

В провинциальных дырах
Гороховой крупной
Солдат и командиров
Кормили на убой.

Багровым иноверцем,
Как роза в два шипа,
Моё горело сердце
И капало, шипя.

И в воробьином визге
Земля была ничья,
Как огненные брызги
Аортного ключа.

1981



Как беспощадны боги Эврипида,
Как беззащитны собственные дети,
Когда любовь, как верный яд, испита,
Но медлит месть медвяных трав Медеи.

Страшнее — жить, и ложе стлать бесплодно,
По всем канонам эллинского права
Страсть, как птенец, проснётся вновь голодной,
Какой бы сытной ни была отравы.

Но по каким, Ясон, безумным меркам
Влекут всё выше конские копыта,
И беспощадны солнце и бессмертье,
Когда смеются боги Эврипида.

МАСТЕР

На закатном стекле этой бедной земли,
Что слепыми церквушками тычется в небо,
Всё ясней проступает твой сумрачный лик
Сквозь слои чернокнижья и нэпа.

Где под гогот, и свист, и беззвучный оскал
Воронные одежды одели
Две сестры — московии хмельная тоска
Да извечная скорбь иудей.

Где российского Мастера выжженный знак —
Как клеймо, эти ранние проседи
Опалила весенних цветов желтизна,
Как последняя молния осени.

И опять над уснувшей столицей — ни зги,
Смутно тлеет обугленный свиток.
Ни замедлить шаги, ни ускорить шаги, —
Так и тянется по небу свита.

1982

Шут, арлекин, балагур площадной,
Как мы не схожи и всё же едины,
Если бедны, то ни в чём не повинны,
Если и платим, то горькой ценой.

Громче — и горло наполнилось ролью.
Тише — и хлынула кровь на века.
Ваши величества, два языка
В сказочных мантиях, выбитых молюю.

Кроме обрывков картона и ваты,
Нет ничего, даже веры слепой.
Вот и окончена схватка с толпой.
Площадь пустеет. Остались зеваки.

Пыльной Европы священная полночь.
Нам ли, хохочущим в небо из бездны
«Будьте здоровы!» как «Будьте любезны!» —
Боже, как скорбно. Бесспорно, бесспорно.

Месяц еще не потух,
В небе звезда пляшет,
Первый пропел петух,
И человек плачет.

Снова один на свете,
Стены во мгле белеют.
— Боже, верни мне сети,
Лодку и дом в Галилее.

Месяц висит как венец.
— Господи, помоги мне! —
Неумолимый певец
Славит рассвет в гимне.

Слышится в двери стук,
Ветер гуляет в доме,
Первый поёт петух,
И связка ключей в ладони.

ОВИДИЙ

Ссылка. Степь. Как воронка, стеклянные стены небес,
Круг событий и лиц циркуляром очерчен отныне.
Драгоценные вести идут здесь как вещи, на вес,
И зимой вязнет в воздухе веское слово латыни.

Как по птицам, мы будем гадать по летящим годам,
А предметы сквозь варварский воздух прозрачней
и резче, —
И приходят к нему, и владеет латынью Адам —
Словно зрелостью плод, наливаются именем вещи.

И с упрямой надеждой описаны в каждом письме
Городок, и граница, и горечь, и жажда исхода.
Каждый год, ожидая из Рима вестей по весне,
Наполняется жизнь пустотой, словно пауза хора.

Но отпустит, и в этот холодный и пасмурный год,
До последнего не прекратив помышлять об отъезде,
Я молчанием льюсь в опьяняющий круговорот,
Как кошачьи глаза, распахнувшихся ночью
созвездий.

СТАРОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Этот дивный комочек дрожащего звука,
Весь от вдоха до слуха, от слога до слога,
Принимает грамматика, как повитуха.
Вся наука — живи, драгоценное слово.

От божественной мудрости до перебранки,
От наитий Платона сквозь призму столетий
До Уайльдовских россыпей, красок, соцветий,
Где метафоры бьются, как бабочки в банке.

Проиграть этот спор — разве это утрата,
Что там копыта ломать, где ломаются судьбы?
Но в пронзительном недоумении судьи:
Обладание словом греховно иль свято!

И по слову Содом оставляется Лотом,
И вбиваются гвозди на месте на лобном,
И свинцовый раствор наливается словом,
Раскаленным, горячим, остывшим, холодным...

Семья Михаила Алексеевича Кузмина [1872—1936] была старообрядческой, но в роду его был и приехавший в Петербург французский актер, родственник Теофиля Готье. Так само происхождение поэта как бы обрекло его на ту двойственность, на ту загадочную нерасторжимость глубокого национального и «гражданства мира», которая столь удивляла его современников. «Почему же он возник теперь, здесь, между нами, в трагической России, с лучом эллинской радости в своих звонких песнях!» — спрашивал Максимилиан Волошин.

С отрочества Кузмин обособился от стаи сверстников: гимназические однокашники спустя много лет вспоминали о смуглом мальчике с огромными глазами, прозванном «вощатой девчонкой», который любил танцевать «за даму». И тогда он уже навсегда отвратился от политики; своему гимназическому другу, будущему наркомом Г. В. Чичерину он писал в 1893 г.: «Я как-то всегда мало интересовался общественной жизнью». Он жил музыкой (три года учился у Н. А. Римского-Корсакова), католицизмом, флорентийским возрождением, поздней античностью, уезжал в олонечские и волжские монастырские скиты. В литературу он пришел 33-х лет и надолго ошеломил русского читателя свободой и искренностью своих «Александрийских песен». Каждое последующее его литературное выступление знаменовало глубинное проникновение в очередной культурный пласт. Первый биограф поэта Е. А. Зноско-Боровский писал: «По прихоти своего воображения Кузмин переносит нас то на Восток, в древнюю Элладу, в Рим, в Александрию, в XVIII век, странствует с героями из одной страны в другую и одинаково хорошо чувствует себя как в современном городе, так и в какой-нибудь деревушке вблизи Галикарнаса, в избе старообрядца или во дворце царя-язычника. С такой же легкостью меняет он и формы своих произведений и готов пользоваться как всеми изощренностями современной поэзии, так и сдержанной наивностью стародавних прозаических образцов. Для того, чтобы оценить это свойство Кузмина, проявляемое не в грубых подделках, а в тонкой расстановке слов, в едва уловимом изменении слога, которыми он передает характер народа, или эпохи, или их литературных форм, достаточно сослаться на пример других русских писателей: много ли среди них таких, которые так свободно чувствовали бы себя везде «гражданами вселенной», как Кузмин».

Кузмин не был «стилизатором». Он постоянно пропагандировал эмоциональность искусства. В 1933 году он писал об Э. Багрицком: «... убеждение и мышление у него переходят в эмоции и только тогда формируются произведением искусства. Казалось бы, самый естественный и законный, самый «натурный» ход поэзии, — и между тем он очень редко у кого встречается». Но каждой эмоции может соответствовать только одна конкретная фактура, и Кузмин каждый раз искал свежее стилевое построение. Этот поиск, перебор, нащупывание автор не скрывал, наоборот, он подчеркивал процессуальность ироническими и озорными нарушениями канона (что раздражало многих, и Зинаида Гиппиус, например, сердилась: «и так пишет, словно все время говорит нам: «я могу лучше, да вот не хочу!»). Кузмин боялся гладкописи и заученности («Не люблю, когда плещется», — говорил он о стихах Вс. Рождественского), ценил у молодых «неловкость движений подростка», «дрожь в голосе». Он неустанно обновлял русский стих, насыщал его множеством конкретных интонаций («конкретность, чувственность, традиция» — основные качества поэта в представлении Кузмина). Вячеслав Иванов ценил в нем способность превращать любовью прозаизм «в золото прямой, беспримесной поэзии».

Кузмин скреплял лирический лад с беседой, болтовней, вздохом, обрывочной скороговоркой.

Он сторонился литературных школ, но внимательно и цепко приглядывался к сменяющимся вокруг него стайкам новаторов, пока их непричесанный задор не превращался в выучку. В поздней статье «Стружки» он с некоторым вызовом изложил свою позицию: «Нужно быть или фанатиком (т. е. человеком односторонним и ослепленным), или шарлатаном, чтобы действовать как член школы. Впрочем, и каждое действие требует этих же свойств. Без односторонности и явной нелепости — школы ничего не достигнуто и не принесут той несомненной пользы, которую могут и должны принести. Но что же делать человеку не одностороннему и правдивому! Ответ только цинический: пользоваться завоеванием школ и не вмешиваться в драку. Но это, во-первых, довольно безнравственно; во-вторых, может быть невыгодно. Часто видные деятели школ, выдвинувшись школьными лозунгами, сохраняют свое положение, когда уже о школе и говорить-то позабыли, благодаря инерции или личным своим достоинствам. Большею же школьных членов приходится уравнивать путь для следующего поколения, быть вроде пушечного мяса».

Всю жизнь он стремился к обособленности и независимости. В послереволюционном Петрограде он сам сравнил себя с Ионой во чреве китовом. Его сны в недрах Левиафана иногда приносили ему обрывки томной лени и сладостной неги из былых времен, времен песенки «Если завтра будет солнце» и поездки в Ригу (где «кровли кроет черепица») и мирную Митаву. Снизлась ему простая жизнь, простой дом, азбука мира, архангелы на иконах, звери на вывесках и глаза на киноплакатах. Пробуждение же грозило сумасшедшим домом в Удельной. Сквозь убогую бескрасочность времени проступали для Кузмина две основные темы: о прощении и о надежде.

Современники всегда считали его счастливым. Он и умер от болезни, а не «естественной смертью», как называл это черный юмор тридцатых годов. И — весь не умер, по слову другого поэта. Спустя четверть века новое литературное поколение стало открывать для себя этот ни на что не похожий и в то же время как будто уже где-то слышанный, уверенно звучащий в сфере «ложной памяти» голос. Ценители Кузмина находили друг друга. Одним из них был недавно скончавшийся Геннадий Шмаков. Он и сформулировал то новое, что выступило в облике Кузмина для его поколения, — поэта, уже не сводимого к схеме «прекрасной ясности», названной Кузминым в 1910 году «кларизмом»:

«Поразительна эволюция Кузмина от кларизма к герметизму, усложненному культурными ассоциациями и реалиями стилю его поэзии в 20-х годах. Кузмин был отзывчив на западные новации — восхищался немецким экспрессионизмом и в особенности его экспериментами в кинематографе; и опыт поэтического киномонтажа, примененный в книге «Форель разбивает лед», уникален в русской поэзии. Его манил к себе европейский модернизм, но он искал новых путей не на полприще «формального модничанья», словотворчества, морфологических или синтаксических новаций русского футуризма или пост-символизма, хотя восхищался дерзостью Маяковского и гениальной заумью Хлебникова. Как многие выдающиеся поэты европейского модернизма и как Мандельштам в России, Кузмин экспериментировал в границах не столько классической традиции, сколько классического языка, и на пути от «кларизма к герметизму» оказался вровень с Т. С. Элиотом, Уоллесом Стивенсом, Кавафи и поздним Хейтсом...»

РОМАН ТИМЕНЧИК

МИХАИЛ КУЗМИН

Если завтра будет солнце,
Мы во Фьезоле поедем;
Если завтра будет дождь, —
То карету мы возьмем.

Если встретим продавщицу,
Купим лилий целый ворох;
Если ж мы ее не встретим, —
За цветами сходит грум.

Если повар наш приедет,
Он зажарит нам тетерок;
Если ж не приедет он, —
То к Донелю мы пойдём.

Если денег будет много, —
Мы закажем серенаду;
Если денег нам не хватит —
Нам из Лондона пришлют.

Если ты меня полюбишь,
Я тебе с восторгом верю;
Если не полюбишь ты, —
То другую мы найдем.

1906

Счастливый сон ли сладко снится,
Не грежу ли я наяву!
Но кровли кроет черепица . . .
Я вижу, чувствую, живу . . .
Вот улицы и переулки,
На палках вывески висят;
Шаги так явственны и гулки,
Так странен старых зданий ряд.
Иль то страницы из Гонкура,
Где за стеной звучит орган!
Но двери немца винокура
Зовут в подвальный ресторан.
И знаю я, что за стеною
Ты, милый, пишешь у окна.
За что безмерною ценою
Отплата мне судьбой дана!
И кажется, что в сердце, в теле,
Разлит любовный водоем . . .
Подумать: более недели
Мы проживем с тобой вдвоем!

1912. Сентябрь

Покойся, мирная Митава,
Отныне ты в моей душе,
Как замков обветшалых слава,
Иль запах старого саше.
Но идиллической дремоты
Бессильны тлеющие сны,
Когда мой слух пронзили ноты
Кристалльно-звонкие весны!
И осень с милым увяданьем
Мне непонятна и пуста,
Когда божественным лобзаньем
Меня поят твои уста.

1912. Сентябрь

Вдали поет валторна
Заигранный мотив,
Так странно и тлетворно
Мечтанья пробудив.

И как-то лень разрушить
Бесхитростную сеть:
Гулять бы, пить да слушать,
В глаза твои глядеть.

И знаешь ведь отлично,
Что это все пустяк,
Да вальсик неприличный
Не отогнать никак.

И тошен, и отраден
Назойливый рожок . . .
Что пригоршнею градин,
Он сердце мне обжег.

Невзрачное похмелье . . .
Да разве он про то!
Какое-то веселье
Поет он «тро-то-то».

Поет, поет, вздыхает,
Фальшивит, чуть дыша.
Про что поет, не знает . . .
Не знай и ты, душа!

1915

Какая-то лень недели кроет,
Замедляют заботы легкий миг, —
Но сердце молится, сердце строит:
Оно у нас плотник, не гробовщик.
Веселый плотник сколотит терем.
Светлый тес — не холодный гранит.
Пускай нам кажется, что мы не верим:
Оно за нас верит и нас хранит.

Оно все торопится, бьется под спудом,
А мы — будто мертвые: без мыслей, без снов . . .
Но вдруг проснемся пред собственным чудом:
Ведь мы все спали, а терем готов.
Но что это, Боже! Не бьется ль тише!
Со страхом к сердцу прижалась рука . . .
Плотник, ведь ты не достроил крыши,
Не посадил на нее конька.

1916

РИМСКИЙ ОТРЫВОК

Осторожный по болоту дозор...
на мху черные копыт следы...
за далекой плотиной
копь ржет тонко и ретиво...
сладкой волной с противо-
положных гор
мешается с тиной дух резеды.

Запах конской мочи...
(недавняя стоянка врагов)
разлапая медведицы семерка
тускло мерцает долу.
Сонно копошенье полу —
голодных солдат. Мечи
блещут странно и зорко
у торфяных костров.

Завтра, наверно, бой...
Смутно ползет во сне:
стрелы отточены остро,
остра у конников пика.
Увижу ли, Нико-
мидия, тебя, город родной!
выйдут ли мать и сестры
навстречу ко мне!

В дрему валюсь, словно песком засыпан в пустыне.
Небо не так синее, как глаза твои, Октавия, сини!

1917. Июнь

ВСТРЕЧНЫМ ГЛАЗАМ

Ветер широкий, рей.
Сети высоких рей,
Горизонты зеленых морей,
Расплав заревых янтарей, —
Всем наивно богаты,
Щурясь зорко,
Сероватые глаза,
Словно приклеенные у стены средь плакатов
«Тайны Нью-Йорка»
И «Matzelle Zaza».
Шотландский юнга Тристана
Плачет хроматическими нотами,
А рейд, рейд, рано
Разукрашен разноцветными ботами!
Помните, май был бешен,
Балконы с дамами почти по-крымски грубы,
Темный сок сладких черешен
Окрашивал ваши губы,
И думалось: кто-то, кто-то
В этом городе будет повешен.
Теперь такая же погода,
И вы еще моложе и краше,
Но где желание наше?
Хоть бы свисток парохода.
Хоть бы ветром подуло,
Зарябив засосную лужу.
Все туже, все туже
Серым узлом затянуло.
Неужели эти глаза — мимоходом,
Только обман плаката?
Неужели навсегда далека ты,
Былая, золотая свобода?
Неужели якорь песком засосало,
И вечно будем сидеть в пустом Петрограде,
Читать каждый день новые декреты,
Ждать, как старые девы
(Бедные узники!),
Когда придут то белогвардейцы, то союзники,
То сибирский адмирал Колчак.
Неужели так!
Дни веселые, где вы!
Милая жизнь, где ты!
Ветер, широко взрей!
Хоть на миг, хоть раз,
Как этот взгляд прохожих
Морских, беловатых глаз!

1919

РАЗЛИВЫ

Подняв со дна всю гниль и грязь,
Уж будто нехотя ярясь,
Автоматически бурливы,
Шумят, шумящи и желты,
В воронку черной пустоты
Всем надоевшие разливы.

Вдруг жирно выплюнет нырок
То падаль, то коровий рог,
Иконной полки бухлый угол.
Туземец медленным багром
На мели правит свой паром.
Тупее огородных пугал.
Проснись, пловец, утешься, глянь:
Не все в воде и небе — дрянь,
Не все лишь ветошь разоренья.
Как разучившийся читать,
Приготовишкой в школу сядь
Слагать забытые моленья.

Простой разломанный предмет
Тебе напомнит ряд примет
Неистребимой, милой жизни.
И ужаснет тебя провал,
Что сам ты дико запевал
Бессмысленной начало тризны.

И смутно, жадно, глух и слеп,
Почуешь теплый белый хлеб,
В село дорогу, мелкий ельник,
И вспомнишь санок легкий бег
И то, что всякий человек
Очищен в чистый понедельник.

1919

У печурки самовары,
Спит клубком сибирский кот.
Слышь: «Меркурий» из Самары
За орешником ревет.

Свекор спит. Везде чистенько.
Что-то копать от лампад!
«Мимо сада ходит Стенька».
Не пройтись ли мне в сад!

Круглы сутки все одна я.
Расстегну тугой свой лиф...
Яблонь, яблонька родная!
Мой малиновый налив!

Летом день — красной да долгий.
Пуховик тепло томит.
Что забыла там, за Волгой?
Только теткин тошный скит.

1921

КОНЕЦ ВТОРОГО ТОМА

Я шел дорожкой Павловского парка,
Читая про какую-то Элизу
Восьмнадцатого века ерунду.
И было это будто до войны,
В начале июня, жарко и безлюдно.
«Элизиум. Элиза. Елисей»,
Подумал я, и вдруг мне показалось,
Что я иду уж очень что-то долго:
Неделю, месяц, может быть, года.
Да и природа странно изменилась:
Болотистые кочки все, озерца,
Тростник и низкорослые деревья, —
Такой всегда Австралия мне снилась,
Или вселенная до разделенья
Воды от суши. Стаи жирных птиц
Взлетали невысоко и садились
Опять на землю. Подошел я близко
К кресту высокому. На нем был распят
Чернобородый ассирийский царь.
Висел вниз головой он и ругался
По матери, а сам весь посинел.
Я продолжал читать, как идиот,
Про ту же все Элизу, как она,
Забыв, что ночь проведена в казармах,
На утро удивилась звуку труб.
Халдей, с креста сорвавшись, побежал
И стал точь в точь похож на Пугачева.
Тут сразу мостовая проломилась,
С домов посыпалась штукатурка,
И варварские буквы на стенах
Накрасились, а в небе разливалась
Труба из глупой книжки. Целый взвод
Небесных всадников в персидском платье
Низринулся, — и яблонь зацвела.
На персях у персидского Персея
Змея свой хвост кусала кольцевидно,
От Пугачева на болоте пятка
Одна осталась грязная. Солдаты
Крылатые так ласково смотрели,
Что показалось мне, — в саду публичном
Я выбираю крашенных мальчишек.
«Ашанта бутра первенец Первантра!»
Провозгласили, — и смутился я,
Что этих важных слов не понимаю.
На облаке ж увидел я концовку,
Гласящую: «конец второго тома».

1922

Я не мажусь снадобьем колдуний,
Я не жду урочных полнолуний,
Я сижу на берегу,
Тихий домик стерегу
Посреди настурций да петуний.

В этот день спустился ранним рано
К заводям зеленым океана, —
Вдруг соленая гроза
Ослепила мне глаза —
Выплеснула зев Левиафана.

Громы, брызги, облака несутся...
Тише! тише! Господи Иисусе!
Коням — бег, героям — медь.
Я — садовник: мне бы петь!
Отпусти! Зовущие спасутся!

Хвост. Удар. Еще! Не переспорим!
О, чудовище! нажрися горем!
Выше! Выше! Умер! Нет!
Что за теплый, тихий свет!
Прямо к солнцу выbleван я морем.

1922. Май

Золотая Елена по лестнице
Лебедем сходит вниз.
Парень, мнущий глину на задворках,
Менее смешон, чем Парис.
Тирские корабли разукрашены —
(Белугою пой, Гомер!)
Чухонские лайбы попросту
В розовой заводи шхер.
Слишком много мебели,
Шелухой обрастает дом.
Небесные полотеры шопотом
Поставили все вверх дном.
В ужасе сердце кружится...
Жарю, кипячу, варю...
Прямая дорога в Удельную,
Если правду заговорю.
Покойники, звери, ангелы,
Слушайте меня хоть вы!
Грошовыми сережками связаны,
Уши живых — мертвы.

1926

ПРИРОДА ПРИРОДСТВУЮЩАЯ И ПРИРОДА ОПРИРОДЕННАЯ

Кассирша ласково твердила:
— Зайдите, миленький, в барак,
Там вам покажут крокодила,
Там ползает японский рак. —
Но вдруг завывла дико пума,
Как будто грешники в аду,
И, озираясь угрюмо,
Сказал я тихо: «Не пойду!
Зачем искать зверей опасных,
Ревущих из багровой мглы,
Когда на вывесках прекрасных
Они так коротки и милы!»

1926

Не губернаторша сидела с офицером,
Не государыня внимала ординарцу,
На золоченом, закрученном стуле
Сидела Богородица и шила.
А перед ней стоял Михал-Архангел.
О шпору шпора золотом звенела,
У палисада конь стучал копытом,
А на пригорке полотно белилось.

Архангелу Владычица сказала:
— Уж, право, я, Михайлушка, не знаю,
Что и подумать. Неудобно слуху.
Ненареченной быть страна не может.
Одними литерами не спастись.
Прожить нельзя без веры и надежды,
И без царя, ниспосланного Богом.
Я женщина. Жалею и злодея.
Но этих за людей я не считаю.
Ведь сами от себя они отверглись,
И от души бессмертной отказались.
Тебе предаю их. Действуй справедливо.

Умолкла, от шитья не отрываясь.
Но слезы не блеснули на ресницах,
И сумрачен стоял Михал-Архангел,
А на броне пожаром солнце рдело.
«Ну, с Богом!» — Богородица сказала,
Потом в окошко тихо посмотрела
И молвила: «Пройдет еще неделя,
И станет полотно белее снега».

Конец 1920-х

НАТАЛЬЯ СТРИЖЕВСКАЯ

Там в пудовых пуховых снегах, где часовни ночные как совы,
Только звезды в вороньих ветвях в непроглядных полянах еловых,
И скрипучий искрящийся прах на осторожных на старых дорогах,
И запекшийся лед на кривых колеях, на высоких на скользких порогах,
Там где ветры и ветлы и вой, волчий вой проводов по откосам,
И под черною жухлой травой спят в утробе сугробов погосты,
И до угольной глади небес ни дымка, ни дыханья, ни дома,
Лишь гудящий негнувшийся лес и косые стволы бурелома,
И всплывает под утро луна в полыньях в непроглядных провалах лиловых,
Там в пудовых пуховых снегах там останется хриплое слово . . .

И тишина суха как штукатурка,
Крошится осыпается, шуршит,
И дранкой в дырах проступает время,
Каркас корявый из стены торчит;
На львах державных виснет паутина
И под обшивкой стружка и труха.
Ржавеет свет и вечера червивы,
И точат, точат дерево жучки;
И густ бурьян и перебиты боги,
Чертополох, крапива, черепки;
Рассохлась дверь и небо пересохло
И в сердце соль и сера пустоты.
Скрипит графит и держит стержень
Отвесы стен. Пудова пустота.
Рук не разжать, хоть неподъемна тяжесть,
Но шатка крепь, все стружка и труха.
И тикает, и тикает под утро
В стекле разбитом пыльная звезда.

И тяжело ворочает ветвями
Молчание лобастых площадей.

Звезды звенят о промерзшую землю как зерна,
Мы не услышим,
Ты детской ладонью
Обнял меня,
Волосами укрою,
И завернемся в звериные шкуры безмолвья.
В губы целую.
И страсть пахнет псиной.
Песне головы прячут в прихожей
Под пиджаки наши поздние гости.
Мы мех молчанья им под ноги стелем.
Мы помогаем укутать опричные плечи,
Мы говорим «до свиданья», а после
Спешно на ключ запираем ненужные двери.
Флаги черны в темноте
И на темени кровь не заметна.
Выметем сор из затоптаных комнат
И пепел вытряхнем в ночь,
Он просыпается звездною пылью.
Но не прочтем гороскоп до конца
Только шубы
Зверем и страхом
Разят в опустевшей прихожей.

Сон созвучий слагая в неясных сонетов соцветья,
Нежность колких снежинок в прозрачные нимбы у лба,
Оголенные лики в голодные гласные в горле,
Голословные вопли в безгласном пространстве тверском.
Верстовые ветра, подворотен продутые тракты,
Обнаженных надежд обморожена жалкая плоть,
Обожженные стужей спекаются черные губы
И смыкаются веки на выюжном, на выючном, на вечном,
На студенном пути, где чернеет наш путь полыньей.
И уходит как в прорубь без отзвука эхо угрюмо,
И холстиной суровой затянет сугробы вокруг.
И ни зги, ни огня, ни звезды для души беспризорной,
В разоренном доме сквозняки сор метут по углам,
И созвездья восходят на ржавой, на кровельной жести,
И Медведицы ковш снова свесится над журавлем.
И колодезной звонкой слюдой, колокольною сталью,
Соколиною стынью наполнят ведро со звездой.
Но из срубленных бревен, из ребер данайских дубовых,
Вновь стволы встают и горбатые корни торчат.

... Вновь грубые листья на смерть золотятся молодеют,
Осунулись скверы и скулы углов обтянуло,
И в облачных лужах лежит голосистое небо,
Лишь сумрак на Трубной круглится отвесно как парус.
Дни сорваны с петель и в двери уже барабаны,
И окна — как мел, и в листе — ни кровинки.
Сухими губами к тягучей строке припадаем,—
Лоб холодом ломит и сини глазури запотела.
Звук ищем наощупь, да жизнь за спиной как чужбина,—
За прошлое страшно, а завтра давно затвердили,—
Года коротали, а там и родных схоронили.
Пьем синюю стын — поминальную тяжкую кружку,—
Лишь трещины сеткой бегут по холодной блестящей глазури,
Пузырится сумрак на окнах тугой парусиной,
Дни сорваны с петель, листва золотятся поседела ...
К тягучей строке припадаем и тянемся к жизни наощупь ...

... И звезд засушенных горсть выронишь из книги
Как мертвых бабочек. Душистого горошка
И бархатцев охапку принесут.
Их в наши сны потом насыпет август
И наклонит агатовое небо
К земле полночной. Астры осторожно
Потянутся в густую темноту
От кладки каменной ограды монастырской.
Ах, сестры-астры, сестры-астры! стены
Теснят дыхание и снятся те же сны
Из ночи в ночь. Забытые объятья
Не разомкнуть. Лишь астры и агат
Над головой. И угасают силы.
И пальцы пачкает бесполоя пыльца
Увядших бабочек и бархатцев умерших ...

... И звездный бархат бездны распахнут
Иль закрыт. Кто может знать.
И в темных складках ветра звездочет
Материю слагает в немоту
Расчета. Расстояние прозрачно
И призрачно. В широких рукавах
Шаги скрываются. Иль скрадывает шепот
Молчание! И все наоборот!
Но шлепанцы бесшумны и халат
За зеркало брошен. Нерешенным
Вопрос остался. Бахрома темна
Но занавесь светлеет. Хрип неслышно
Подкрадывается к башенным часам.
И маятник качается. Качели
от звезд к земле иль от земли к звезде!
Бездумные и мерные размахи.
Металл и медь. Бумага леденеет.
И светляки созвездий облетают
С небес под ветром словно листья с вязов.
По комнатам влачится сновиденье.
Паркет скрипит. В коврах укрыта пыль.
Полет запрещен. Платье пахнет прелью.
И поступь времени тиха и тяжела.
Виденье прогибает половицы
И голоса троются в зеркалах.
Все пути, спутники, пустыня, тупики
И шахматная правильность решений.
Шарады, паруса, орлы и решки
И парусина серенького неба.
И шаркает поспешное забвенье,
Мешает, мельтешит и машет прочь
Теням настойчивым. И маятник торопит.
И топчется молчанье у дверей.



ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ

ИЗ ЗАПИСЕЙ 1950—1980 ГОДОВ

Записи 1950—1960-х годов

И в числе преуспевающих, и, как все преуспевающие из порядочных, охотно подчеркивает признаки отличия от прочих преуспевающих. Один из признаков — уважение (по гамбургскому счету) к не преуспевшим.

— Да, это настоящий человек... Вот это жизненная позиция...

Это разговор после двух-трех рюмок, когда его у себя принимает не преуспевший; приятный и беспредметный разговор. А вот разговор, когда он принимает (по делу) не преуспевшего:

— Занят я сумасшедшим образом. Вы не представляете что делается. Телефон обрывают. Какие-то предисловия, отзывы, выступления. Только что звонили из журнала.

— Зачем же вы на все соглашаетесь!

— Невозможно. В каждом случае невозможно. Так же как я не могу вам отказать...

Между этими людьми существуют многолетние отношения вовсе не похожие на эту фразу. Фраза же эта — непосредственная, наивная реакция организма на ситуацию. Узнавание ситуации, которая выражается формулой короткой, жесткой и освященной веками: проситель и покровитель. Ситуация точно сработала, и автоматически выскакивают слова: Вам же я не могу отказать...

Вообще механизм социальной иерархии действует замечательно наглядно и точно. Особенно, когда на него не наброшен покров истинной вежливости. Но истинная вежливость встречается редко; да и покровы самой вежливой вежливости прозрачны.

Социальная иерархия, как и всякая иерархия, — это механизм по сути своей формальный. И все, кто к нему прикосновенны — а прикосновенны к нему почти все — вольно или невольно действуют по его формальным законам. Даже оценивающие по гамбургскому счету. Когда существует чрезвычайный разрыв между действующей иерархией и гамбургским счетом, оказывается: цена по большому счету — это абстракция, тогда как иерархия, хотя бы литературная, — это воплощение силы совершенно реальной.

Органы СП, например, — Литфонд в том числе, — очень хорошо знают, что даже не по гамбургскому, а по открытому сейчас счету Ахматова это мировое имя, вошедшее в историю и прочее. Они знают при том, что сейчас им не только не возбраняется, но даже вменяется в обязанность ее опекать. Они знают также, что Икс или Игрек, скажем, — не бог весть что, и даже те премии получал по третьему разряду. И столь же твердо они знают, вернее ощущают всем своим существом, что А. А. может жить в безобразной бытовой обстановке, а Икс-Игрек не может, что ему нужно предоставить условия. Что заболевшего Икса никак нельзя сунуть в районную больницу, в палату на шесть человек, а Ахматову можно. И сунули.

Мировая слава Ахматовой и ее поэтическое бессмертие — это факт умозрительный; о нем всякий раз приходится вспоминать специально. А положение Икса в иерархии — даже не очень значительное — есть частица реальной силы, включенная в об-

щую сеть силы и власти. Об этой силе не нужно вспоминать, помнить. Вещественно воплощенная она возбуждает соответствующие условные рефлексы у всех — от членов правления до дежурной у телефона поликлиники.

Закономерностями этим подвластны, к сожалению, не только медсестры и члены правления. Самые из нас неказенные, общаясь с хорошими писателями лет даже 27-ми, не могут удержаться от патриархального с ними обращения — и это потому, что, согласно нынешней иерархической шкале, молодые писатели сами усвоили поведение литературных мальчиков. Молодые отвечают игрой рефлексов, столь же бессознательной и точной. По гамбургскому счету они ценят, кого надо. Но как-то без ощущения дистанции. Чувство дистанции, монументальная затрудненность общения — это остается за отягченными признанием.

Если человек признан только в кругу домашних, друзей и ценителей, то сами домашние и ценители ежеминутно забывают о том, что они открыли большого человека, и практически поступают с ним как с малым. В этой неувязке коренятся даже иные любовные конфликты.

Из людей, общавшихся с Мандельштамом, некоторые уже понимали, какой он поэт. Но никто так с ним не обращался. Настолько он не умел, не хотел и по внешним причинам не мог прибегнуть к каким бы то ни было сигналам литературного величия.

На сереньком, мокроносом, моргающем лице редактора — лице недотыкомки — отпечатлелась цепкая борьба за жизнь, за место, за то, чтобы не растерли сапогом. По-видимому, он хочет и все не может сказать: Ох, мне бы ваши заботы. И охота вам торговаться о том, психологизм у него или не психологизм. До того ли... Люди пожилые, умные, — хочется ему сказать, — выдавшие то, что они видели [а в числе прочего мы действительно видели, как историко-литературные соображения становились ценой хлеба, чести, жизни], люди почтенные — не для денег, не для звания, а в самом деле занимаются тем, кто там классик и кто романтик. И вам не стыдно!

С какой отвратительной безошибочностью расшифровывается затягивающая логика страха, усталости и растления. Еще немного и, может быть, и я захочу сказать: Брат мой! Недотыкомка серая!.. Мне тоже, кажется, все равно...

Но по костности человеческой ни он, ни я, мы ничего этого вслух не скажем. И разоидемся, не оценив друг друга.

На провокационные вопросы английских туристов Зоценко ответил, что он не может признать правильным сказанное о нем в постановлении. Это сочли криминалом, и местные организации решили возобновить травлю. Зоценко пытался объяснить — обладающий человеческим достоинством не может согласиться с тем, что он подонок, трус и предатель своего народа. Не может. Это было логично, и наивно, потому что совсем не о том

шла речь. Писатель — зодчий оттенков слова хотел договориться с теми, для кого слова не имели не только оттенков, но и вообще никаких значений. Слова стали чистым сигналом административного действия. Событие, в котором шла речь, протекало в области полностью запредельной значащим словам и отраженным в них жизненным реалиям.

Вот подлинная структура события, его костяк: абсолютная сила сочла нужным применить к такому-то первым попавшимся — из своего словарного запаса — слова, пригодные в качестве сигналов уничтожения. По заведенному ритуалу такой-то должен был выслушать и покаяться. И тогда непогрешимая сила, которая объявила его подонком и изменником, быть может, объявит его, человеком, признавшим свои ошибки. Всем участникам этой опасной игры известны ее правила, и они бешеным раздражением встречают любую попытку разбудить значение полутно употребляемых слов. Для них это бестактность и глупость — по меньшей мере.

Зоценко выступил на общем собрании ленинградских писателей. Он говорил очень долго. Он мучительно бередил реальные смыслы слов. Объяснял, что человек может признать ошибки, но не может, не может признать, что он подлец, изменник. — Меня назвали предателем, трусом... И он говорил о георгиевском кресте, полученном за войну 14-го года. То, что он говорил, дышало неосуществленным самоубийством. Его слушали напряженно. Этот монолог утолял томившую тогда жажду очищения.

Некоторые, впрочем, всполошились сразу, и уже в перерыве толковали о том, что это может всем повредить. При мне в перерыве состоялся разговор между X и его рецензентом. Попробуем восстановить внутренний процесс, которым разговор этот сопровождался.

X думал с неодобрением: Как некоторые сразу забегали... Он тоже чаял очищения; он был человеком группового сознания (интеллигенция), разделявшим общие потребности и интересы. И тут же вдруг обнаружилось, что происходящее имеет ближайшее отношение к его личным интересам — по-видимому, и к общим, взятым в другом разрезе. В перерыве это объяснил X — У человек, который как раз в эти дни писал рецензию на его книгу, решавшую участь книги.

У рецензента было гипсовое лицо и бегающие глаза (знакомый и дурной признак). Рецензент сказал доверительно и угрожающе: «что он натворил! Он показал, что ничего не понимает. Действительно подонок. Вы даже не знаете, что он натворил. Это каждый из нас почувствует...» Это интимное «нас», «мы» — как-то не предвещало ничего доброго. «— Ну,— сказал X,— это выступление настолько безумное, болезненное, что, может быть, это так и поймут».

Нервы, только что еще страшно взвинченные, улеглись, и он вяло сказал то, что говорили порядочные люди. Но рецензент, в последнее время охотно говоривший все, что говорят порядочные люди, на этот раз вовсе не клюнул. Он был испуган и зол.

X отошел, размышляя о любопытном душевном состоянии рецензента. Понемногу до сознания доходила, определялась опасность этого состояния. Из него должна была произтечь рецензия совсем другая, нежели предполагалось первоначально. И по мере того, как определялся страх, возникало то самое, что X только что увидел в глазах рецензента, бегающих в прорезах гипсового лица,— злоба, злоба, обращенная к человеку, который ненужно, навязчиво разрушил спасительную условность ритуальных слов. Из которых ведь выдохлось все — и смысл, и кровь, и стыд. Чрезвычайная ненужность. Подумаешь... болезненное явление... интеллигентская слюна в кулуарах. На самом деле — эгоизм истерика. Нечто вроде рвоты при публице. Вот где действительно живой стыд — не в словах со снятыми смыслами... Вообще мне нет до этого дела. И никому нет дела; хотя кое-кто вообразил, что у них исторические переживания. На самом деле у всех разыгрались нервы.

Такова реконструкция воображаемого внутреннего монолога.

1957

— У меня все пребывание в санатории было испорчено,— сказала Анна Андреевна,— ко мне каждый день подходили, причем все — академики, старые дамы, девушки... жали руку и говорили: как мы рады, как рады, что у вас все так хорошо. Что хорошо? Если бы их спросить — что, собственно, хорошо? Знаете, что это такое! Просто невнимание к человеку. Перед ними писатель, который не печатается, о котором нигде, никогда не говорят. Что же хорошо! Да, крайнее невнимание к человеку.

— Нет, все понятно — хорошо, что о Вас не пишут.

Это столь верно, что в тот же день знакомый, при встрече, сразу сообщил:

— Знаете, у Зоценки обстоит все блестяще.

— Что же случилось!

— Им там сказали, что ничего особенного не произошло; чтобы его оставили в покое, дали ему работу. Но он сказал... — Ну, и что, что сказал,— ответили им,— пусть видят, что каждый говорит, что хочет... Ему предложили работу. Перевод, что ли. Он ответил, что плохо себя чувствует и работать пока не может.

В общем у Зоценки все очень хорошо.

Ахматова права, как впрочем, правы и поздравляющие ее академики, девушки и старые дамы. Невежливо, конечно, говорить писателю, что все хорошо, когда он не пишет. Но в разговоре этом было и верное чувство реальности, поскольку он разговор о разрешении существовать. Направляемые чувством реальности, они полагали, что едва ли сейчас есть писатель, для которого писать важнее, чем жить.

Рядом со мной собирается перейти через улицу благообразная женщина средних лет. Обращаясь ко мне:

— Боюсь я теперь переходить. Очень страшно. С тех пор как они перестали гудеть. В Москве говорят... У меня в Москве родственники. Так в Москве, говорят, в первую неделю ужас сколько было случаев. Потом, ничего, привыкать стали. А в первую неделю...

Перешли. Она продолжает идти рядом.

Я: — Ну, да. Но вообще это лучше. Пришли к заключению, что без гудков безопаснее. Когда со всех сторон гудят, человек нервничает, оглядывается. Может пойти не туда, куда нужно. А так меньше несчастных случаев.

— Нет, почему же меньше. Теперь, если он вас сам пощадит,— хорошо. А так он вас объезжать не обязан; только на дорожке для перехода.

— Как так!

— На дорожке, значит, для перехода — там он отвечает. Должен затормозить. А если вы в другом месте переходили, в непоказанном, тогда, пожалуйста, сами виноваты. Он может вас сбить и переехать, и даже номера его не запишут. Так и поедет дальше. А если он вас не до смерти переедит, и вы потом выздоруете, так вы же потом еще заплатите штраф за переход не в том месте.

— Ну, что вы. Да как это может быть...

— А как же! Так ведь для чего эти новые правила — чтобы транспорт быстрее ходил. Движение ведь большое. Надо побыстрее. А так, если каждого начнешь объезжать... А теперь без гудков пойдет быстро. Всякий сам будет знать — не попадайся. А шофер теперь может гнать, потому что он только на переходной дорожке отвечает.

И она, и, вероятно, ее московские и ленинградские родственники — не удивились. Не удивились тому, что теперь, для быстроты городского транспорта, шоферам разрешено давить людей всюду, кроме очерченных белыми полосами площадок для перехода, и, задавив, ехать дальше — не останавливаясь.

Попробуйте сказать ей истинную правду,— что мера эта принята для того, чтобы нервы городских жителей не страдали от уличного шума; подобное соображение покажется ей наивным, ничего общего не имеющим с ее представлением о действительности и притом лишенным государственного смысла.

Умер Зоценко, и где-то уже напечатали, что некоторые его произведения подвергались серьезной критике. Кто это написал! — Циник, ругающийся над прахом замученного! Едва ли. Скорее всего кто-нибудь добродушный, который жалеет и почитывает. Он написал это во-первых потому, что так ему полагалось по занимаемой в редакции должности; во-вторых, потому, что покойнику сейчас-то уж все равно. Главное же потому, что такие слова давно уже потеряли для него свое предметное, да и всякое другое, значение. Это только сигнальная система, предназначенная с помощью условных обозначений доводить до сведения, что на такое-то жизненное явление надлежит так-то отреагировать.

В данном случае сигнал означает, что этот труп следует погребать снисходительно (отчасти даже простив ему его страдания), с ужимкой и оговорочкой.

Адская сила этих механизмов именно в том, что бесчеловечные дела совершают самые обыкновенные люди. Для этого формулы должны воспроизводиться текстуально,— необходимое условие омертвления слова. Отклонение от текста может разбудить слово и вызвать случайный его контакт с действитель-

ностью. В определенных случаях нельзя, например, сказать: барское отношение или пренебрежительное отношение (вдруг получится контакт), но непременно — барски-пренебрежительное. Тогда получится то что надо — сигнал к чьей-нибудь травле.

РАЗГОВОРЫ Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ

— Иногда мне казалось, что жить уже больше нельзя, что невыносимо... А Ося вдруг говорил: Почему ты думаешь, что ты должна быть счастлива! Это удивительно помогало, и до сих пор помогает.

Надежда Яковлевна как-то сказала Суркову: «Какая нелепость получилась с «Живаго», насколько умнее было бы его напечатать». — «Нет,— отвечал он,— это было невозможно. У нас молодежь к таким вещам не привыкла. Мы уже сорок лет не даем ей ничего такого».

— Тем,— сказала Н. Я., кому вы сорок лет не даете, сейчас уже шестьдесят... Сурков промолчал.

Я писала уже о том, что отрицательные факты поведения можно рассматривать изнутри — тогда получается анализ; что их же можно рассматривать извне, и тогда,— иногда для себя неожиданно,— мы получаем сатиру.

Если от больших исторических злодеяний обратиться к повседневному моральному блуду, то оказывается — явления качественно близкие мы практически рассматриваем то извне, то изнутри.

***, например, рассматривается извне. Он стал уже, было, вполне прогрессивен. Ситуация изменилась. Его пнули и пинали до инфаркта. Он испугался и все, что из этого следует... Из фактически точных формулировок получается сатира. Но процессы очень сходные, переживаемые людьми другого разряда, мы рассматриваем изнутри, и тогда получается психология, драма.

Речь не идет о неправедных и праведных, о стоящих ошью и одесную. Речь идет о переходах, количественных или качественных — это спорно; во всяком случае, психологически зыбких.

Что могут противопоставить полуправедные неправедным! — Этическую рутину, несколько более стойкую и столь же лишенную обоснований! Может быть,— способности! Творческая способность [в самом широком смысле; отнюдь не только интеллектуальная или артистическая] стала этическим фактом. Бездарный — равнодушен. Поэтому корысть, страх, тщеславие владеют им невозбранно. Способность содержит в себе возможность. Возможность порождает потребность. Жгучую потребность реализации. Имманентный человек находит в себе то, что выше себя. Любовью и творчеством он выходит из себя. И нет ничего более важного для человека. Но и способный подвластен страху, корысти, честолюбию. Этически аморфный он вовлечен в сложное, переменное взаимодействие этих сил с творческой ценностью.

Соотношение это имеет свои типовые разновидности.

Например:

— Я всегда избегал сакральных формул. Всю свою жизнь я просидел из-за этого в углу [это человек большого ума и слабого жизненного напора, которому нужны обстоятельства, оправдывающие бездеятельность]. Но, когда я увидел, что за это уничтожают — не только за сказанное, но и за несказанное — я стал говорить все [притом он совсем не трус; трусы говорили все с самого начала]. И еще Белинский заметил, что сила подлецов в том, что порядочные люди поступают с ними как с порядочными людьми. С ними нужно применять их же методы. Ну, не доносы, конечно,— этого мы не можем. Но хоть цитаты.

— Каждая деятельность имеет свои условия,— говорит человек другой разновидности (сильный напор, острая жажда реализации),— необходимые, заранее данные. Хочешь действовать,— надо их принять. И даже вынести за скобку.

Замечу, что эта скобка придушила многих.

Если сильная воля к реализации сочетается с дидактическим складом, с расположением к пафосу,— возникает необходимость не только деятельности, но и моральных ее оправданий. Тут гегельянская выучка незаменима.

— Конечно, отходы истории. Много жестокого, безобразного. Но высшая историческая правда... Но всемирно-исторический гений... Но выбор между авангардом и обюзом... И вообще разговором о конъюнктурах мы злоупотребляем. Вещи предстают в разных познавательных связях. Дело не в модах и не в приказах — просто изменяющаяся современность предлагает нам разные грани истины. То одну, то другую грань.

Вариант без этического пафоса:

— Хочу реализовать мои мысли. Настоящие; стоившие всех жертв и усилий, каких требуют мысли. Для этого пользуюсь защитными формулами. Даже не считаю их неверными. Собственно, я не лгу. Просто — это не мой язык. Это, если хотите,— стилистическая ложь.

Множество градаций. Градации внутренних состояний — от полного цинизма [хочу жить как можно лучше и, главное, безопаснее] до почти полного самообмана. Градации слов — от принципа «масло каши не портит» до стилистических самоутешений: у меня самый, ну, самый минимум — и не гениальные, а просто труды, и не указал, а сказал... Конечно, изящество слога спало отчасти от неизбежного срама, куда заводило сочетание страха с суконным языком.

Еще один говорит:

— Не могу без мучения перечитывать то, что тогда писал. Так вот мне казалось тогда, что мои работы очень чистые, благородные [в своем роде оно, вероятно, так и было, потому что их годами не хотели печатать], мне казалось, что почти, почти со всем, что я говорю, я в каком-то смысле почти согласен. А теперь читать это страшно. Следишь как мысль идет, идет, и вдруг ее что-то дернуло — вывих. Вывихнуло ее словами не то чтобы лживыми (не обязательно), но попавшими сюда по другим причинам. И каждый раз у себя, у других так омерзительно точно узнаешь, как именно сработала здесь машинка.

Действовали разные силы. Заполнявший сознание страх; тот самый, что приулил многих засыпать только утром, потому что им особенно не хотелось быть внезапно разбуженными. Или вполне рационалистическая перестраховка [нет, так не пройдет; а вот так, ну, еще немножко, и уже, может быть, пройдет]. Действовала всеохватывающая словесная среда; она проникла, как проникает неодолимо туземная речь в сознание иностранца. Как ни странно, действовала своего рода добросовестность, человек, вдруг говорил или писал именно то, чего от него ожидали. Ему смутно при этом мнилось, что иначе он обманет работодателя.

— Читаешь лекцию,— говорил NN,— и совсем неожиданно, без подготовки выскакивает у тебя формула, ссылка, цитата. Совсем это не обязательно. Но какой-то гипноз. Но по глазам видно, что именно здесь они этого ждут. Получается — взялся за дело, и сделал не то. Неловко.

Это продуктивные, те, кому нужно реализовать свою мысль. Ну, а те, кто без мысли! Для кого это все только заработок, карьера, способ отсидеться! Для них — масло каши не портит. И у них даже был свой азарт прямого попадания в директиву. Бутафорской стрельбы по условным целям — как в тире.

Где границы психологических переходов! Где количество переходит в качество, где кончается анализ и начинается сатира! Это еще о словах. Но были и дела. Они тоже имели свою шкалу. Молчать, голосовать, отмежеваться, осудить — утешая себя тем, что все равно это ничего не меняет, практически не повредит... До этого предела мы анализируем изнутри — так что ли! За этим пределом не утешаются тем, что это не повредит; еще немного — и с удовольствием вредят... И это мы рассматриваем извне. А ведь можно продолжить и рассмотрение изнутри.

Можно изобразить, например, как проработчики 49-го года после проработки возвращались домой и, хватаясь за сердце, говорили своим женам:

— Выматало меня в конец. Ты не можешь себе представить... Вся эта свора, всю жизнь они нас толтали; трусы, теперь юлят, предают... Хотя бы один человек нашелся. Я всегда говорил...

Или можно, например, рассмотреть изнутри как *** начал вредить; вернее как возобновил причинение вреда, после того, как некоторое время был хорошим.

По ходу одного их острых проработочных рецидивов он был проработан за одобрительную рецензию на книгу, которую не следовало одобрять.

И вот наступила ночь. Он не спал. Тихо звякала рюмка с микстурой; подушка была горячей и — как ни поверни ее — неудобной. В глубине тошнотворно замирало сердце. И в бессонной ночи начинается внутренний монолог:

— Ужасно, ужасно. Ведь они убьют. Еще раз — и непременно убьют. Ну, мы прорабатывали, когда-то. Правда. Но разве мы убивали. Собственно, людям мы не хотели зла. Это было чисто идейное... Вон сердце опять куда-то уходит... И зачем я ввязался. Ну, не все ли равно. Я причем. Слова, слова, слова... А тут жизнь — единственная, другой не выдадут. Только бы выбраться, выбраться — и я все прекращу. И я скажу все...

Хватит! Этот психологический роман уже написал девятнадцатый век. А дописал Горький «Караморой». «Ведь мы — чтобы жить, человек, чтобы жить. Как же иначе! Подумайте сами: ведь жизнь для меня, а не я для жизни, да!»

В «Караморе» несправедливо показаны изнутри. Как же быть с полуправедными! Психологические границы оказываются зыбкими, этическая рутина пекучей.

А граница все-таки есть — граница взятой извне социальной функции. По одну ее сторону стоят люди мысли. Она не была ни свободной, ни чистой, ни гордой. Но она была — когда все вопияло об ее донкихотской ненужности. Мерили ее мерой жизни, чести и хлеба. Об этом написано:

Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей . . .

Сам лишился, а до людей донес. Вот и выполнил свою функцию.

Записи 1970-х годов

РАЗГОВОР

— Но как вы понимаете быт!

— Примерно, как я понимаю характер. Что такое характер! — примысливаемый принцип связи, он извне налагается на совокупность возобновляющихся психических проявлений человека. Быт — это принцип связи, который мы налагаем на вещи, явления, образующие среду обитания. Основная проблема состоит здесь в приручении вещей, в переманивании вещей на свою сторону. Вот эти свои, обезвреженные вещи, эта область воздействия и ответственности отдельного человека — это его дом . . .

— Быт, дом . . . Все это так или иначе стык между человеком и миром.

— Разумеется. А самый опасный для человека стык — его профессия.

— Точнее это можно назвать социальной функцией . . .

— Пусть так. Во всяком случае, для создающего человека главный вопрос — отношение профессии к творчеству. Идеальное решение: профессия совпадает с творчеством. На таком отношении и должна работать культура. Идеальное соотношение нам противопоказано. Существуют разные формы обхода. В том числе теория второй профессии . . . Пушкин говорил: пишу для себя, печатаю для денег. Это еще куда ни шло, но мы давно опростили формулу: одно пишу для себя, другое печатаю для денег. С изменением формулы немедленно встала и треснула нас по лбу проблема времени. Время это и есть жизнь, это и есть мысль, процесс, пребывающее и движущееся сознание. Именно эту реальность мы знаем — осознаваемое, интеллектуально переживаемое время.

После важной, интересной, долгой научной работы можно вдруг очнуться с чувством — меня не было. Время не протекало в сознании, но сразу сплотилось многомесячным густком. Мысли через меня переваливались вовне, не оставляя на мне следа. Так называемая объективно значимая деятельность. Столь интересная, что при этом не замечаешь времени. Мы окружены людьми, которые не замечают и не имеют времени, и гордятся этим. Нет таких почестей, силы и славы, которыми бы наши современники гордились так, как они гордятся отсутствием времени — то-есть субстанции жизни. Вообще дело не в том, что время — деньги. Это годится для американцев. Для нас дело, в том, что деньги — время. Время для своего дела.

— Почему при господстве материалистического мировоззрения у нас так любят помпезные похороны!

— Потому, вероятно, что имярек теперь обезврежен. Пробуждается потребность как-то его компенсировать.

В 1949 у Эйхенбаума был второй инфаркт. А. П. [видная работчица], ездившая в Москву, сообщила пушкинодомской дирекции, что, если Б. М. умрет, приказано похоронить его по первому разряду.

— А если он не умрет, — сказала я, — приказано сделать то же самое.

Как-то мы с Ирой просидели почти до утра у Бор. Мих. Эйхенбаума. Там были Шкловский и Зоценко. Пили все очень много и почему-то всё разом — вино, коньяк, водку. Шкловский отвалился и ушел спать в соседнюю комнату.

Точнее не помню, но было это в середине 50-х годов, после второго захода травли Зоценки (после его ответов английским студентам).

Зоценко говорил о том, что травлю 1946 года (более страшную) он переносил стойко, со свежими силами. Но возобновление

оказалось невыносимо. И лицо его было лицом человека, страдающего непрерывно, — хотя он пьет и ест. Как от настойчивой зубной боли.

Хржановский показывал в переделкинском Доме любопытный свой фильм «Рисунки Пушкина». Средствами мультипликации рисунки Пушкина приведены в движение; рисунки строят биографию. Фильм сразу показался мне труднопроходимым. Пушкин, скажут, изображен недостаточно почтительно. Но сказали другое. Кто-то в комиссии, принимавшей фильм, заявил, что Пушкин известен ему как поэт, а художник он плохой, и незачем этим заниматься. Что сам он на заседаниях рисует профили на бумажке, но не претендует, чтобы их показывали в кино.

Забавно, но среди всеобщего умиленного слюнотечения, в котором утоплен Пушкин, — в этой истории есть даже нечто освежающее.

Ата и Симонов учились вместе в Литинституте и поженились году в 35-ом. Симонов был тогда бедный и неустроенный юноша (лет 19-ти), которого в другие Вузы не принимали по случаю дворянского происхождения. Он как-то подрабатывал на заводе. В стихах подражал Киплингу. Он показывал мне свои стихи, и мы с ним считали, что они не для печати. Работоспособности он тогда уже был необыкновенной, и он говорил, что завоюет себе место. «Я не самый, может быть, талантливый, но я достигну.»

Впоследствии — они уже разошлись — Ата говорила: «Костя — это не человек, это учреждение». Она имела в виду неотключающуюся организованность.

Во второй половине тридцатых годов Симонов начал достигать. Он не только писал уже для печати, но уже получил первый орден. На этом именно отрезке своего пути Симонов попросил меня познакомить его с Анной Андреевной. Она разрешила его привести.

Поднимаясь в пунинскую квартиру по крутой и темной лестнице одного из флигелей Фонтанного дома (здесь, вероятно, жили привилегированные из шереметьевской челяди), он спросил:

— А можно ей поцеловать руку! Как вы думаете!

— Даже должно.

Облезлая дверь около звонка была залатана полоской жести. Николай Николаевич (Пуни) — может быть не без умысла — отдрал от банки тушенки кусок с сохранившейся надписью: «свиная».

Мы не успели еще позвонить, и Симонов вдруг быстро снял с лацкана пиджака новенький орден и сунул его в карман.

Похороны . . . Опять цепь бездумных и не имеющих смысла действий, полностью отчужденных от совершившегося события. Для безрелигиозного сознания наступило несуществование, ничтожество. О загробном ничтоестве писал восьмидесятилетний Вяземский и двадцатичетырехлетний Пушкин:

Ничтожество меня за гробом ожидает . . .

И вот ничтожество облекают в грубые формы бытовых представлений и плоских гражданских церемоний. И участники говорят: Как все прошло хорошо. И испытывают удовлетворение.

У ничтожества нет имени, но имя с чинами и званиями пишут на гробовой доске. Все это нужно близким и нужно социуму, который не отпускает человека и не понимает небытия. И мы готовы в этом участвовать. Даже в непроходимой путанице странных обрядов, когда неверующие понимают душу неверующих.

В интеллигентской среде сейчас прочно вошли в обиход поминки, приличествовавшие людям совсем другого, традиционного склада, другого отношения к смерти. Знакомые сейчас не без удовольствия думают о том, что предстоит пообщаться, выпить и закутить — перед лицом небытия. А для близких — это одна из возможностей продлить иллюзии продолжающегося основного существования.

В самом ли деле я хочу, чтобы вместе с человеком исчезла память о нем и его свершениях! Нет, это невозможно. Но его имя, его дела, его книги или картины — все это уже не он. Это только отпавший от него факт общественных связей, социума, культуры. Он же есть несуществование, которое нельзя вообразить и которое поэтому живые загоняют в свои топорные оболочки.

На похоронах N кто-то довольно долго говорил о том, что он является автором ценных библиографических справочников.

Записи 1980-х годов

Всякий раз как предстоял выход книги большого поэта XX века [Андрей Белый, Мандельштам, Пастернак, Цветаева] вокруг нее во всех инстанциях поднималась паника. Как если бы от появления именно этой книги сразу должны были рухнуть устои. Но книга после многолетних мытарств выходила, а устои оставались на месте.

Читаем романы о тридцатых годах... Читать местами мучительно. Вот так мы и жили. В разных вариантах, но так. З. Г. говорила: примета времени даже не террор, не жестокость (это бывало и в другие времена), а предательство. Всепроницающее, не миновавшее никого — от доносивших до безмолвствовавших.

По ходу жизни работают разные защитные механизмы. Обвалывают, подстилают соломку. Чтоб мы не кричали от ужаса. Мы не видим картину проживаемой жизни. Всякий раз только частицу. И всякий раз она — частица — к нам или мы к ней приспособлены.

А теперь минутами ретроспективный ужас. Распахивается «бездна унижения». Как же это мы шли в эту бездну, шаг за шагом, ничего не пропуская...

1987

В двадцатых годах Мандельштам писал ортодоксальные рецензии (в том числе внутренние). Они не столько были камуфляжем, сколько самовоспитанием. Это явствует из узнаваемости в них Мандельштама, его метафорических ходов. То же и ода Сталину 1937 года — замечательные, к несчастью, и в высшей степени его стихи. Значит, они соответствовали какому-то из несогласованных между собой поворотов мандельштамовского сознания.

Совсем другое — стихи о Сталине и о прочем, которые Ахматова написала для «Огонька». Она пошла с ними к Томашевским, с которыми была очень дружна, и спросила, можно ли их послать. Борис Викторович, — рассказывала мне Ирина Николаевна, — ничего на это не ответил и молча сел за машинку перепечатывать стихи для отправки в Москву. При этом он по своему разумению, не спрашивая Анну Андреевну, исправлял особенно грубые языковые и стиховые погрешности.

Когда поэты говорят то, чего не думают, — они говорят не своим языком.

Мы с тобой на кухне посидим...

В этом стихотворении у Мандельштама все — и нищета, и нищетою заостренное восприятие вещей в их простоте, наготе и бездонной значительности; и любовь — укрытие, любовь — защита от страшного мира; и страх, и тщетное желание выжить.

Настоящее слово в искусстве — если оно еще возможно — вероятно, могли бы сказать именно мы. И не потому, что мы видели самое страшное — там тоже многое видели. Но потому, что только мы на собственной коже испытали год за годом уход девятнадцатого века. Конец его великих иллюзий, его блистательных предрассудков, его высокомерия... всех пиршеств его индивидуализма.

«Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником» — написал Чехов в письме к Суворину.

Пушкин хотел и иногда надеялся. Лермонтов — хотел. Тургенев еще боялся. Толстой — и хотел, и надеялся, и боялся.

N — еще имеет шансы быть художником. Он боится смерти и жизни. Впрочем, быть может, и той и другой недостаточно сильно.

В 1984 году, когда «Нева» печатала мои «Записки блокадного человека», в одной вышестоящей инстанции о них было сказано: — Там слишком много говорят об еде.

Надежда Яковлевна говорила о разном отношении начальства к Пастернаку и к Мандельштаму. Они все же понимали статус Пастернака. Пастернак — дачник. А Мандельштам был всегда непонятно кто.

Выступая на конференции, созванной в ИМЛИ для канонизации художественной прозы Брежнева, Б. сравнивал эту прозу с пушкинской. Это в чистом виде действие социальных механизмов. Он знал, что академиком его все равно не сделают, что, с другой стороны, ему решительно ничто не угрожает, если он не сравнит Брежнева с Пушкиным и даже, если вообще откажется выступать. Что на этом деле он не выиграет и не потеряет.

Что же оно такое! — только сталинских времен привычка к бесстыдству. Страх искоренил стыд. Люди без защитных покровов, — голые — и никто никого не стыдится.

Бердяев. Перечитываю автобиографию. Ведущая мысль — индивидуализм, философский персонализм. Раскаленный протест против всего его ограничивающего; откуда бы оно ни происходило, даже от бога. Но суть в том, что это индивидуализм религиозного сознания, то есть заведомо обеспеченного ценностями и смыслами. И в мире ценностей оно ведет себя непринужденно.

А безверие — где ему найти аксеологическую непреложность! Для этого существуют, конечно, механизмы социальных правил или настойчивые творческие и эмоциональные побуждения. Но между ними и последней этической истиной всегда для нас остается зазор, в котором мучительно шевелится необязательность.

Честертон настаивает на том, что главное, «чтобы человек, попросту сидящий в кресле, вдруг понял, что живет, и стал счастливым». «Все прекрасно по сравнению с небытием» — уверяет Честертон. Это красивая мысль. Она меня прельщает. Но есть в ней что-то от викторианской холерности.

Честертон умер в 1936 году. Он видел еще не все, но многое видел; у него брат погиб на войне четырнадцатого года. И все же девятнадцативечное (вероятно, иллюзорное) чувство безопасности.

Они не понимали, что бывает существование — например, лагерное существование миллионов, — которое хуже небытия, которое от перехода в небытие удерживает только темный, дремучий инстинкт жизни.

Прочитала в газете: почтовые отделения со скрипом выдают бланки для подписки на журналы и газеты. Оказывается, они перешли на хозрасчет и экономия поэтому на долях копейки (1000 бланков стоят два рубля).

В магазине из рук в руки вручают незавернутую селедку. «У нас теперь нет бумаги — хозрасчет» — отвечает продавщица на вопрос растерянной покупательницы.

Б. рассказал мне, что теперь поликлиники должны как-то оплачивать больничные койки, поэтому амбулаторным и участковым врачам дали понять, что им следует, по возможности, воздерживаться от госпитализации.

Наличие хозрасчета может быть направлено против того же самого человека, против которого было направлено отсутствие хозрасчета. Этот человек — достоящий, в очередях стоящий, подвергаемый лечению — нерентабелен, как бывают нерентабельные предприятия. И он не имеет выбора. Поэтому он, когда привычно не прерывает требований, является предметом презрения, и предметом ненависти — когда пытается их прервать.

АВАНГАРД

Мы окружены авангардом — поэты, художники, кинематографисты... выставки, теоретические декларации. Неудобство в том, что авангард, как и модернизм, перевалил уже за сто лет своего

существования. Поэтому придумали термин постмодернизм (по образцу постсимволизма, постимпрессионизма). Отличается он от модернизма, кажется, отказом от обязательности новизны, небывалости. Уступка чересчур очевидной повторяемости мотивов.

Авангардизм зародился периодически. В России — в начале века, потом авангардизм обернутов, преемственно связанный с первым этапом через Хлебникова. Сейчас новая волна. Авангард всякий раз вступал в борьбу с традицией. Всякий раз заново освобождался от признаков существующей поэтики. В стихах, например, от размера, от рифмы, от устойчивой лексики, в конечном счете от общепринятого смысла. Это сопровождалось эмансипацией формы, как носительницы чистого значения, идеей самодостаточности цвета или звука.

Периодичность закрепила в авангардизме некие стереотипы отрицания. Поэтому мое поколение, которое уже столько раз это видело, воспринимает его как архаику.

Авангард начала века был производным индивидуализма. Вижу мир таким, каким мне заблагорассудилось его увидеть.

Вывождайте форму начали еще романтики. Но романтический индивидуализм состоял в том, что безусловно ценная личность присваивала себе безусловные ценности ей внеположные, вплоть до божественных. Романтическое отношение субъекта и объекта нарушило уже декаденство конца XIX века. Объективные ценности взяты были под сомнение, но ценность личности еще не оспаривалась. XX век с его непомерными социальными давлениями постепенно отнял у человека переживание абсолютной самоценности.

Индивидуализм без величественных ценностей и без самоценности личности не мог не кончиться абсурдизмом. Существование не имеет смысла, и в лучшем случае человеку оставлено удовольствие от самого процесса бессмысленного существования (это описано в «Постороннем» Камю).

Сегодняшний наш авангард пользуется абсурдом для ухода от надоевших форм жизни. Состояние сознания одной разновидности изображает в своей прозе их теоретик Владимир Шинкарев. Сознание высоколобых, широко зрудированных работников котельных.

В журнале «Родник» напечатан «основополагающий документ» — «Митьки» Шинкарева. Митьки — группа художников; они же «художники поведения в мире, где все только разводы на покрывале Майи...»

На покрывале Майи прочитывались разные разводы, иногда очень изысканные. Но художники поведения митьки запечатлели на этом покрывале умышленно убогий быт, с эстетикой пьянки и сквернословия, игру в идиотизм, речь простую как мычание или как словарь Элочки-людоедки. Шинкарев приводит образцы словоупотребления митьков. Например: «ДЫК — слово, могущее заменить практически все слова и выражения».

Но поведение митьков задумано как шифр, скрывающий и приоткрывающий то, что за покрывалом Майи.

А что за покрывалом Майи! — Высокая жизнь духа! Во всяком случае искусство. Искусство возможно только как перевод на символический язык экзистенциальных ценностей. На худой конец оно, — как единственную достоверную ценность, — само себя переводит. Тогда образуется ценностная недостаточность.

Бахтин, враждовавший с формалистами, в широком историческом развороте включен вместе с ними в единое понимание литературы как деятельности специфической. В книге о Достоевском впервые рассматривались не идеи романа, но роман идей.

СИМВОЛ

Народный музей Ахматовой при ПТУ завода имени Жданова — эту гримасу неоднократно уже отмечали. Она идеальный образец того, как в хорошо сохранившемся механизме закладывают неподходящие для них программы.

Лена Ваулина сказала по поводу моих последних записей: — Вы пишете все круче. Иногда это приходит с годами. Так было у Герцена, например. Лишнее отпадает, а нужное уплотняется. Старость этому способствует — пока она не разрушила мозг.

Зато вещи большого объема я уже писать не могу...

Я прочтала Нине Павловне Снетковой последние записи, в том числе, что «пишу круто». Она сказала, что молодым нравится, чтобы было круто, а ей это уже не подходит. Раньше у меня эмоция подавлялась, но обнаруживалась, пружинила. А теперь все рационалистично и безукоризненно; эмоцию, страсть в самом деле удалось подавить. Раньше мысль сама собою развевывалась, теперь она загнана в афоризм.

Я: — Ну, на этот счет я сделала прямое признание: я уже не могу писать вещи большого объема...

Н. П.: — Мне не обязательно нужен объем. Мне нужно пространство... И чтобы мысль в нем можно было повернуть так или иначе. От вашей мысли раньше можно было идти в разные стороны. А теперь, когда все вытесано из камня...

Существенный разговор. Свою прозу я всегда представляла себе как скрещение анализа с лирикой (рационалистический импрессионизм — сказал когда-то один слушатель «возвращения домой»). Если убрать рационалистичность получится слюна. Если убрать эмоцию получится наукообразие. Но как сохранить это двоящееся единство противоположных начал!

Все большие (относительно) вещи, которые я написала, — включая «Блокадного человека», — были аналитической моделью катастрофического опыта чувства. Впрочем, вымышленные сюжетные ходы тоже укладывались в эту модель.

А сейчас, кажется, все уже стало воспоминанием. Любовь стала воспоминанием. Отчаяние тоже; и так называемая беспричинная тоска, причина которой в необъяснимости существования. Воспоминанием стал даже страх. Потому что смерть больше не вопрос, решая который мы выясняем отношения с жизнью, — но близлежащая необходимость.

Не скавал ли все, что я могу еще сделать, холод отодвинутого времени...

«Главное, не теряйте отчаянья» — любил повторять Николай Николаевич Пунин.

Вспоминал ли он эти слова в концлагере, где он умер (уже накануне освобождения, после смерти Сталина), где, говорят, над ним изощренно издевался невлюбивший его начальник.

ЛОЛИТА

Набоков преувеличен. Он большой писатель; он великопен. Но он не гений, который открывает нового человека, — как открывали Сервантес и Шекспир, Толстой, Достоевский, Пруст, Чехов, да и Кафка. Лучшее, что Набоков написал (из мне известного) — «Лолита».

Недавно в «Литературной газете» состоялся «круглый стол» (с иностранцами), посвященный Набокову. Сотрудница ЛГ сказала, что Набоков — прозаик не ахти какой; зато очень хороший поэт, вроде Бунина. Один из иностранцев заявил, что «Лолиту» Набоков написал с целью заработать на порнографии.

«Лолита» — роман моралистический; в развязке даже до навязчивости моралистический. Читатель ни на минуту не забывает о том, что герой творит черное дело. Но «Лолита» также книга о великой любви, непредсказуемо порожденной черным делом. В конце он на последнем пределе любит ее — беременную, убогую жену убогого калеки.

Великая любовь — в отличие от любви умеренной — бывает похожа на болезнь, на опрокинутое равновесие. Для нее годятся любые, непредусмотренные ситуации; она их на свой лад обрабатывает.

Человек садится за письменный стол, берет перо. И начинается странный — если вдуматься процесс. Какой-то участок еще бесформенного бытия отщепляется, высвобождается и с помощью слов, с усилием подбираемых слов становится значащей формой, произведением, вещью.

Искусство есть интерпретация опыта, — не действительности, потому что действительность мы знаем только в опыте. Интерпретация эстетическая. Эстетическое начинается вместе с активным переживанием символического единства означающего и означаемого. Поэтому латентно эстетическое содержится в любой деятельности, на любых участках поведения.

Лин Хеджинян — поэт, критик, редактор и издатель теоретического журнала «Поэтикс Джорнел» (соредактором которого является известный американский поэт и теоретик Баррет Уоттен), а также редактор и издатель малотиражного поэтического издания «Туумба Пресс». Периодически Лин Хеджинян преподает в Университете — Сан-Франциско — читая курс по современной поэтике. Ей принадлежат книги: «Маски движения», «Письмо как опора памяти», «Моя жизнь», «Страж», «Заново» и др. Она также известна как автор ряда работ по теории и истории поэзии и цикла статей, посвященных творчеству Гертруды Стайн.

Лин Хеджинян трижды была в СССР.

Живет и работает в Беркли, Калифорния. Замужем за известным композитором и исполнителем Лоуренсом Оском. Мать двоих детей.



ЛИН ХЕДЖИНЯН



из книги **МАСКИ ДВИЖЕНИЯ**
(1976)

МАСКИ ИЗ МАСОК ДВИЖЕНИЯ

Неизвестное
То, что упущено
Сокровенное
Святая возможность

1.

Я смешиваю, говорила она, две различные истории, и, знаю, окончательно их перепутаю. Но как бы там ни было, как бы странно это ни казалось, совершенно несвязанные события в памяти могут сплетаться, являя очевидную общность.

Как-то: твоя удача — мой день рождения
твои деньги — мой кошелек
твой мед — моя нежность



2.

финики
флирта

но это смешно

О, любимый,
Мыслить как и любить — это словно кругами объятий в танце двигаться к музыке. Существуют «бизоны, лошади, буйвол в центральном загоне; олень, мамонт, ибис поодаль; лев, медведь, носорог,— те совсем в отдаленьи».

3.

Дети берут по куску цветного мела и принимаются рисовать на асфальте двора. И им все равно, если рисунок одного из них пересекает рисунок другого. В итоге случается беспорядочный вздор, однако и это не удручает детей. Все исполнено цветом. Они были тайной друг другу, впрочем, как были тайной для самих же себя.

твоя — это глаз, обведенный случайно несущий плодоношение прозы

твоя — это ладони овал
притягательность
пыл
цветеньем гравированный сад

кто-то поет о пурпуре вод
зелени
кобальте
охре
смуглом картофеле

ФИГУРЫ ИЗ ИСПОРЧЕННОЙ КНИГИ

герои
состарились

//

В этих местах, побуждающих к речи, даже вчера на столе оставались миски и чашки, они расплзались, будто их било, унося куда-то водою. За порогом виснут деревья. Желание управляет любовью, подобно тому, как любовь управляет желанием, и существует столько же фактов, сколько рассказов. И те и другие были прежде потоком единого ветра. Литература есть вещь, которая сделана, признаваемая как таковая, но факт, являясь сделанной вещью, таковою не признаётся.

//

вот причины и песни

нож
жажды и секса
кухня
ребенок
котенок
коршун

Я бы прыгнула со скалы, когда бы годилась на это, и приземлилась по ту сторону этой долины, стопами совпав со следами своей же прогулки.

//

Когда сила покидает глаза
я стара

Когда мои ноги
особенно, если вниз с холмов
как раз в коленях
в икрах

Когда даже времена года прозрачны

//

Внося лающего пса, садящееся солнце, растущие деревья. То, что синее, то продолжается. То, что красное, угасает. Наши ручки холодны, лозы наши не имеют предела, безупречны герои и дети не знают зимы. Здесь молочные реки, кисельные берега. Почва черна, плод багрян, желт или оранжев, либо лиловый как слива.

//

И невозможно тебе описать чувственность слов и идей. Их вершины, поверхность, окружность, внутренность мне доставляют величайшее наслаждение. И это не удовольствие, которое ощущаешь, встречая старого друга, который остается одновременно чужим и знакомым.

Подобно тому я люблю идею Незнания. Она предлагает рассудку чувство почти религиозной Возможности.

из книги СТРАЖ (1984)

1.

Разве кто-либо был пойман письмом — «Люди себя повторяют». Полнолуние выпадает на первое. Я несмотря на прерывность. Погода и воздух нас затопили. Людей открытые рты красно-желты — о зрачках. Чему не научить, того и не будет. Как если бы передовую газеты предложить иллюстратору. Но не изобретают они они следуют. Тебе к лицу этот стул.

Так разместились надежды, выросли несмотря на прерывность. Так — в охраняющем сне вопреки интерпретации. Любой, кто сможет поверить, сможет открыть это может сокрыть. Натиск кратких заметок

и возражений. Сеанс или сессия. Концентрическое суженье. Если мир кругл и вход уже пройден... Пейзаж — это мгновение времени дано в точке зрения. Почему бы не приехать еще до зари. Не может помыслом быть и потому быть не возможно что лукаво может сокрыть человек. Остановка отнюдь не конец, вибрирует стандарт для глядения в окна

сквозь стены. Это было о спасении детей на тропе беглеца автобуса. Неизбыточно тяжкая эйфория. Багажа сходство, и как сыро. Как долго продлится. Повторение в копиях кажется, значит сказать «я тоже»

подскажу тебе. Мой знакомый дом прочен. В жнивье жить в машине. Неизлечимая мысль превращается солнечный день как остановленное понятие. То, что следует диалогу, сделано. Кто верит тому, что сердечность их от того, что зовутся романтиками.

Необходимы полые красные, желтые фабрики. Язык, абсолютная ясность впитывая привычки. Страх смерти лишь опечатка. Память, рот. На кулаке пальцы и они оставляют следы. Самоанализ, исключение, концентричность

сессия. Вода утишает стебель. Между мазней и рисунком. В ознобе дерево на припеке. Машина минует прошлое, чье неизвестно. Самолет — точка в исчезновении следы настаивают. Как оптика, красные точки, честность ожидает услышать изморось ритм величавых, сквозящую в геометрии. Воздет, безмятежен Китай

ветряные мельницы вращаются горизонтально. Пещеры сотрудищаются с заводами. Глубоко в своих горах они движутся простираясь в решетках, на целые дни замирая неподвижны, как плакаты — припилены к стенам.

Небеса упакованы

что в появлении нескончаемо, кажется неизбежным. Флаг плашмя валится вниз. Лошадь ступает по сухому песку с сухим скрипом трущихся мелких частиц. и противоречия вскипают у берега льдами пылью жемчужиной взмывая. Земля.

Живопись не пленяет.

Почти то же вспоминаю о своих увлечениях повторявших во многом интересы других в чьих кругах чуткий, неприкаянный разум словно в истерике стремился к раскрытости. О науке для ее практикующих. О стяженях рельефа. Две ноты мотору

в марте объект тьмы ограничен грязью, ни распад, ни прозрачность. Он садится за фортепьяно, это атака на звучание губ. Тому, кто в клетке линяющего попугая, тому — изготовленный наукою диалог

для ее практикующих. Тишина наполняет. Сцены пронизывают мосты. Воздух так всегда пробирает до сердца, нутра открываясь природе горнилом ее перемен гонит суда по заливу власти привязь расторгнув, поистине шлет невесомую речь не знающую французского, не произносится.

Резинов рассвет в растрате себя.

Хрупкого горизонта неуклюжая тишина. В коже залежи признаков. Одним вещам сквозь сети удастся скользнуть другие сгниют. Ничто особенно меня не тревожит. Во сне, в придуманном промедленьи. Самой невдомек — кому завтрашний день.

из книги ЗЕЛЕНое (1982)

СКЛОНЫ

Взмывая, птица воды восхищена солнцем. Отрицанье закрытого, отказ от конца. Без земли абсолютно. Утро прозрачно и плавится. Планета приходит в себя над дырою в земле. Пусть облаками небо полнит другой. Слово дыхания трепет сухо поощет в белье, парусит. Зелень о том, чтобы раскатами стай отовсюду подняться с пра-скал. В неизъяснимом желании она вводит в среду осязаемость. Обещанье остановить синеву. Кроны деревьев гасит слабеющий ветер. Образование завершаем в весельи, перебирая глазами детали. Яркую листву, по преимуществу к полюсу, гонит слабеющий ветер. Стряпающие идиллии затеряны в протяжении. Детали улиц изветрены, ливень осколков. Деревья дрожь: ветер взмет-

нул простыню. Вверх, где воздух держит орла, передавая неуклонно-певучую распрю по поэтическому лучу. История лирики кудахчет транслитерацией куриных песен. Пример удручающ. Между днем-в и днем-вне расположено это. К простым числам с новым доверием, синонимия впечатлений. Пульс позднего утра вторят повторенья смутные запада. Я слышала шум, он посвятил в сон. Воздух нагрет дыханием сражающихся солдат, — плавится снег, кровь сверлит лед. Никак не увидит. Они смотрят на реку и, мнится, видят сквозь лодки, не упуская из памяти, где собрана память, место и то, сколько памяти собрано в нем. Стабильность и насажденная умело тревога формируют общественный слой. Слой семян оперенных на широких досках пола приплюснут и кругл. Яблоко вместо лампы, голова вместо яблока. Повсеместные факты питают ветхие триллеры, и в результате — признание. Слово выразительней намного того, что оно объясняет. Процедура описания статична, его изготовленные ограды встроены, постоянны, не вечны. Конец опустошает начало. В петлях увязали хрупкие ногти. Сны опустошают настоящее не более, чем полет жаворонка или возня цыплят. Запоздало-небесное движение тел. Преткновением времени движется воздух. Проносит звук. Скоропись неба метит воздух тысячью спрессованных теней деревьев. Эта экономия могла бы быть понята как красота. Когда бы не явное несоответствие. Цели природных фактов свисают с поэтического луча. Восемь изначальных ветров, восемь их в половину, шестнадцать в четверть. Аналогиям обречены позвонками времени. В мановение ока возродишься ты черепахой. После подобных попыток глядения вверх обрести бесконечность гораздо трудней, чем превозмочь незаполненность. До превращения нет дела. К воде падает ветер, его мы не предали; умаление без рассеяния; что разит меня красотой, так это то, что почти незрим предмет. И если кто оседлал ветер, тот может плыть навстречу ветру. Разгребатели мусора главной идеи. Сну не сравниться с уровнем подлинника. Неизбежна динамика в движеньи по оси плоской машины. Крепи сердце. Клише времен года, как и другие клише, униженны, — образ мышления с пластырем ветра, время смолото в тальк. Саранча ведома вожатые, море — доисторический хаос. Ветер — он бормотанье неведомо как уходящего времени. Дневной свет — достоянием всех, плодоносен. Все лучи волны. Эксперимент с последовательностью приветствуют вас. Мои тучные, однако незаметные соседи разъезжаются по делам в тесных машинах, чьи механизмы дискретности лягают в унисон. Пение птиц, теплый воздух вытягивает за окно занавеску. На стадии безразличия улитка выпускает рожки. Сюжеты бездомны. В доме все так или иначе миниатюра; возрастающий «чадо-центризм». Яблоком называет ребенка свой мяч, слово не тень. Отказать в сладкой сентиментальности, развивая воображение. Быть двигателю воспетым в Элизиме. Из лазурных разрывов порывистый ветер, резок слишком, чтобы низвести ливень. Волнение склонов в пересечении параллелей, отнюдь не метафор. Основа свершается в цвете. Когда ночь вбирает дневное свеченье, тяжкие тени сжимаются в стенах. Тогда было время, когда районы Американского севера служили полем виньетки. Пейзаж обнаженных холмов, вянувший в цвете, стягивает, сужаясь концентрическими кругами, сверкающие в тенистых местах для гулянья машины. «Трубный глас, рев жизни, людской муравейник взывают к ошеломляющему чувству довольно двусмысленно.» Звук, подобно собаке, рычит в беспомыслии. Жалобы дрожь в пустоте. Если не слышим, как валится дуб — существуем ли мы тогда вообще? В нисхождении свет расцветает. Пребываем в эйфории мерцанья, черная мысль из слов, чьи лошади добыты из фактов. Отвращение к солнцу, мелькнувшему с мемориальной доски. Концентрический круг означает фальшивое завершение. Тут и там, разрывая диск солнца в воде, вскипают пузырьки кислорода. Тени прозрачны, огромны, отточены. Точность в том, чтобы одновременно, и все же — по стеблю. Тридцать два лепестка розы ветров. Парадокс перемен

заключается в том, что в нем равно бессмысленны как непрерывность, так и законченность. Ты, кровь намагниченная, к какому стремишься концу. В шестивии пасмурном минует погода того, кто стоит во дворе, говоря, чтобы думать. Почти неподвижность, когда бы не легкое трение воздуха. Что значит «вы-ставить»? Оцепенение элегии. Ипохондрия. Раскаленная до блеска точка на ободке тяжести; первое поколение, у которого все, чего душа пожелает; как во сне похождения засекреченной армии; национальные штаты отзываются звездам; сила стекла; под лампой фигурка. И тогда клише встречаются с призраками,— предренность. Здесь могла бы быть прочтена связь частиц: белая лошадь, колосьев хруст, копыта. Язык набок. Колючка чертополоха суть почки. Птица возносит себя, оставая пролом за собою, дыру, не ведущую к завершению. А словно различие между грязью и формой, проработанных отражениями, стенами горизонтов песка, объемом и светом их кожи. Ожидание скалы над терпением ручья. Обширный итог — могила без места. Я буду пустой, ничем, совершенным отсутствием. Бесконечность прервана облаком. Предсказуема, в близорукости предчувствую цвет для настоящего времени в небе.

из книги ЗАНОВО (1984)

1.

Согласье к согласным
сводит сонет.
Воробьи. Ветру сродни
сквозящему в прутьях колючих гнезда
птицей входящему, гласную

нанизывающему на клюв.
Когда невозможно помыслить сразу две вещи
по меньшей мере думаем дважды, гребец
по воде срывается в путь. Ее описание жизни
на девяносто процентов авантюрный роман.

Все, что удалось извлечь из морали
это выкрикнуть
имя кого-то, кого уже знаем.
В интеллектуальной воде шелест вязанья
и опущенные скалы, мнятся, хрипят
на ветру. Подобно ребенку

так искренне, просто я обнаружила
как тяжко с друзьями, замыкаясь в симпатии
У меня они были. Иные а) агрессивны
возлюбленны, б) противоречивы по сути
либо в) непредсказуемы, дугообразны — подобно лозе.

С фрейдистским вкусом веселья мы ощущали
расскаьяне за наших безжалостных повитух.
Но за обретением огня
неизбежно открытие влаги.

Глазурью на глине наливаются облака
маслянистые птицы собираются в лоснящемся небе
Маячит жирно луна
соскальзывает, крадучись по дороге за нами.
Анархия спит
в преизбыточном

времени, под стать вялой терминологии.
Безымянные толпы (любопытно кого!) напоминают
кладку стены без цемента. Завтра — это тот же
всё день в моем опыте. Но сон
лишь доставит радость из радостей

щедрую, если проснемся.

4.

Вообрази же того, кто страх
своей смерти изучает в метафоре или
влюбляясь. И снова сегодняшний день
превращается в завтра, как если в пруд
ступить из корыта —

— и мимо! — и вниз через ров.
Всплеск расщепленной воды, на солнце опал
— миг, когда одно, два, пять — слова мои
пункт прибытия длинному поезду мысли —
и сохнет песок.

Романтический интеллект (слова
не избежать) заключает в себя
великолепие жизни всецело. Срываются
капли мышления (свет нашего дня
сфере подобен), чтобы прыгнуть назад. Свет

на воду нисходит
(потому что день, он, основание дома)
и точки движения, зажженные им
ненавязчиво строги. Одни вещи быстрее

другие помедленней, и так мои руки
как мельница, попадают в медленные рукава
а разум давно уже в парке, тогда как ноги
еще только к порогу несут.

Так желанием карикатурно продолженные
встречаются два направления опыта —
сколь податливы! Букет
добавляет тяжесть. Пес вдгонку за катящимся
яблоком, блок размыкается

и что-то сдвинуто
— телефон. Звонит человек
разделен поперек.
За ним тащится тишина баржи, нагруженной
великолепием счастья, растраченным
безымянно жизнью.
Преступление! тот вид автобиографии.
Исповедь! тот вид непонимания

— подобно тому, как предать невозможную цель.
Кто превозможет! Как назидание
ночи, чтобы та началась.

5.

«Ангелы, видимо, вовсе не знают
что пребывают в движении.» Весна
инструкция не для меня... вешняя кротость
... остатки чудовищного примера.

Впереди поставлено дерево
чтобы ветер сильнее раскачивал комнату.
У меня слишком острое чувство несправедливости
... одиночество непривычно... когда дрожью к музыке
исписываю салфетки
в неподходящем месте.

Во времена желания и рассудка
терпенье разума эквивалентно течению.

Перевел АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО

КУЛЬТУРА

НОРМУНДС НАУМАНИС

С НОВЫМ ГОДОМ! ИЛИ



ЭКСТРЕМИЗМ ЧУВСТВ НА ФОНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПЕЙЗАЖА

1. Законсервированный в либретто Лачплесис.

Минувший год вполне можно вписать в историю Латвии как год ломки стереотипов — каждая неделя, да что там — каждый день «потрясали мир». Рухнул какой-то древний запрет, отменили какое-то табу, завоевана какая-то «запретная зона» и возвращена народу. Названия улиц и площадей, латышская символика, красно-бело-красный флаг... Государственный язык (хотя пока — и без самого государства). Народный фронт Латвии. Боже, благослови Латвию!

То, чего нельзя было месяц назад, теперь можно. О чем год назад мечталось в самых прекрасных грезах,

показывают по телевизору. Мы заставили всех понять, что демократия — не привилегия партийного аппарата. Но странным образом кричат о том, что «демократия — не вседозволенность» те, кто с благословения вставших в старческий маразм лидеров культивировал девиз: советская демократия — это когда власти дозволено все. И так далее.

Публицистика смела все границы и забралась во все области жизни. Сбор подписей «за» и «против». Манифестации, митинги, пикеты и забастовки. Календарные беспорядки и праздники. Год Лачплесиса. Год Кар-



лиса Зале. 400 лет латвийского книгопечатания. Национальное Олимпийское движение. Изучение трагедии в Литене (наконец-то!). События 1940 года названы оккупацией (наконец-то!). Неудачная война в Афганистане (наконец-то!). Латвийской республике — 70 (наконец-то!). И так далее...

Актуальные события в политике — наш хлеб насущный. Все отчетливее видно, кто — за латышский народ, а кто — против него. Но! — политический театр становится все утонченнее, все рафинированнее — в конце концов, враг тоже не дурак и умеет приспосабливаться к новым условиям. Уже и теперь можно наблюдать новые тактические пируэты «охамелеонившейся» бюрократии (тов. Рубикс на телевизионной пресс-конференции признался — ему, мол, и в голову не приходило, что над башней Рижского замка мог бы развеяться не городской флаг, а «какой-то другой»). И так далее.

Честные показывают, насколько они честны. Все видят это. В это время люди становятся откровенны. И беззащитны. Надо полагать, Комитет госбезопасности еще функционирует? А улица Алфредса Калниньша, в отдельные дни битком набитая «лимонами»? А напоминание о танках? А специальное «подразделение», которому, как мы слышали по телевизору, «так приятно работать — каждый день имеешь дело с людьми»... И так далее.

Наш Лачплесис тоже беззащитен. Об этом я больше всего беспокоюсь — о честности, которая не защищена от зла. И это время придает вековой, христианской формуле «делай добро, и тебе воздастся» новый, политический, светский смысл.

Пока наша демократия еще в пеленках (демократия, которая, ко всеобщему удивлению родилась в этом

«самом счастливом тоталитарном государстве»), пока наш социализм еще только предстоит строить, пока наш закон не столько за нас, сколько против нас, пока о наших обязанностях нам напоминают ежечасно, а наши «бумажные» права нам никак не реализовать, пока (и так далее!)... наших лачплесисов ждет именно такая судьба, какую напророчили в августе 1988 года Зигмарс Лиепиньш, Мара Залите и вся их команда.

Да, как ни вертись, даже при оценке произведений искусства больше всего приходится думать о времени, их породившем. И я не могу уклониться от публицистики. Ибо именно сейчас, когда мое перо нависло над девственно чистым листом бумаги, которая все стерпит, именно сейчас появились антиконституционные, имперские дополнения к Конституции, пока — на стадии проекта, которые нашему Лачплесису не то что уши — голову отрубят. Так сказать — поигралась, и хватит. И это весьма значительно! Именно сейчас!*

И было бы величайшей трагедией забыть среди великих радостей и маленьких будничных побед то, что Дитрих и Ликцепуре с бандой местных кангарсов — Вечная сила. Сила, которая не дремлет.

Поэтому я посвящаю свою статью предателям.

Счастья и радости в наступающем году, Кангарс! Все равно, где бы ты ни сидел — в Риге или в Москве, в Комитете по культуре или на Центральном рынке, в ЦК или в ПМК...

* Стоит начало ноября. Ждем белого снега.

Кто ты?

Без глаз, без ушей, без языка?

Не зря в рок-опере настолько сильна тема Кангарса, и не только в результате драматургического решения («отрицательный образ» всегда получается контрастнее, он, в отличие от прочих, показывается в развитии, в действии, актерам есть тут что играть и т. д.).

Время сделало актуальной тему Кангарса (это имя-символ появилось и на плакатах многих митингов!)

Как странно — мы не задаем вопросов: ну почему добро такое доброе, или — ну почему ты так добр? А что касается зла — так ищем корни и причины. То же и в рок-опере. Никто не сомневается, что Лачплесис добр. В принципе, для меня это так и остается загадкой: почему добро — доброе. Я принимаю Лачплесиса как данность, как статичный образ, который ЯВЛЯЕТСЯ добрым и благородным. Но сегодня, мне кажется, этого мало, не та политическая ситуация, когда можно позволить себе быть добрым без программы действий. Это не упрек Маре Залите, это наше общее слабое место. И речь тут не о резолюциях и законопроектах. Часто я слышу, что та мощная положительная энергия, которая кипит в народе, не имеет таких же положительных возможностей для проявления. Я не думаю, что этой энергии следует разрядиться лишь в сборе подписей и на митингах. Должна быть идея, во имя которой трудиться. И, кажется, единственная такая идея — это государственность Латвии, а все прочие, обещающие «больше социализма, больше демократии и т. д.» — по-моему, косметика.

Я гляжу в либретто рок-оперы и ищу в нем драму идей. Этот путь предлагает и программа спектакля, в которой Залите отмечает, что «в противоположность классической опере, где либретто носит подчиненный характер, я уловила мощное идейное звучание всемирно известных рок-опер («Иисус Христос — суперзвезда», венгерской рок-оперы «Король Иштван», «Хронист» и прочих) и близость литературной основы этих произведений к драме идей». Не знаю, какие оперы М. Залите считает классическими, но хочу заметить, что в хороших классических операх и либретто, и музыка несут в себе тот же идейно-политический слой с таким же «мощным идейным звучанием» — вспомним хотя бы, как творили политику средствами музыки Верди и Вагнер, как даже милому и очаровательному Моцарту пришлось пострадать за свои «драмы идей» с Фигаро во главе! Иные времена, иные нравы — наше несчастье в том, что мы не умеем «читать» произведения искусства прошлого и включенные в них идеи «второго плана», если они не называются открытым текстом, скажем — Отчизне и свободе. И где нам было научиться этому — не в школе же! К сожалению «время лозунгов» (я ничего не имею против лозунгов, которые пробуждают) таит в себе некую опасность — мы можем утратить способность воспринимать нюансы. Утратить то, что зовется умением видеть вселенную в капельке росы. Теперь в моде трубачи, а не тончайшие механики душ человеческих. Более того — выхолощена гуманистическая традиция европейской культуры, наследственность культуры, и то непонимание культуры как единого целого, в коем мы доселе вынуждены были пребывать, приходится лечить радикальнейшими средствами — а это все же своего рода насильственный акт. Поток информации, имена и фамилии, забытые произведения литературы, философии, искусства валяются на наши головы — и не остается времени на медитацию, размышление, нормальный процесс вызревания мысли. Мы дети спешки, а можем стать детьми поверхностности, разве что со знаком «+».

Не думаю, что для того, чтобы стать «драмой идей», «Лачплесис» должен был бы проповедовать сложный труд самопознания и самопреодоления, но мне мало

того голоса, который в этой композиции типа рондо поет голос а капелла:

Горько плачет солнышко
В яблоневоу саду,
Упало у яблони
Золотое яблочко.

Ты не плачь, солнышко,
Бог другое сгелает.
Из меди, из золота,
Из серебра.

Мне не хватает духовной альтернативы, рядом с классической библейской версией Каина и Авеля (Кангарса — Лачплесиса), даже рядом с ее латышским вариантом в тексте Мары Залите. Современность — очевидна. Но образ Лачплесиса в либретто неподвижен, негибок, ему приходится верить на слово. Я, например, хотел бы видеть, каким образом он приходит к тому, что слышит родину в настоящем — в прошлом — в будущем. Пока лишь названы ситуации:

1. «Землю эту очистил от зла» (сегодняшний труд),
2. «Долго по капле тебя собирали» (вспоминание о прошлом).
3. «На перекрестке малое дитя» (надежда на будущее).

Ясно, что Лачплесис — не светило интеллекта, он черпает силу (все же, все же!) в языческих источниках, как и прочие так называемые «положительные образы» рок-оперы — об этом свидетельствует текст. У его совесты корни в религии, по сути совесть здесь — метафизическая категория, наполненная верой как данностью, а вместе с этим — и как догмой. Его сомнения, если они и проскальзывают, носят мистический, колдовской характер. Это не продукт интеллектуального самоанализа. Лачплесис — человек дела, в то время как его враги — мыслители, политики.

Итак — «далеко еще тебе идти, Лачплесис», ибо, размышляя о статусе нашего народного героя, я должен сделать вывод: он придет к осознанной политической программе действий, преодолев по меньшей мере два витка спирали развития — своей эмпирической чувственности и логического мышления или же — анализа ситуации. Ибо народная мудрость гласит — сперва думай, а потом делай. С Лачплесисом, как бы правильно он не чувствовал, чаще, к сожалению, происходит наоборот. Даже в либретто рок-оперы, например, в картине из первой части со Стабурадзе и ее дочками. Путь Лачплесиса пока что можно назвать **внешним**, он ведет героя за советом **к кому-то**, а не вовнутрь себя. И на сцене Лачплесис чаще оказывается в роли просителя, а не трибуном по своей сути. В большой мере то, какие слова Мара Залите вложила в уста Иго-Лачплесису, в какие ситуации его поместила, определилось тем, что психофизические проявления темперамента артиста — это то полусогнутые колени, то обхваченная руками голова, то чуть опущенные плечи. И не надо винить певца, что он «не такой», ибо в театре текст пьесы определяет действия персонажа, ситуация предусматривает поведение, особенно если, как в данном случае, литературный материал не предназначен для «игры от противного». Это все же драма отчетливых положений и идей, а не комедия абсурда. И именно **этот текст**, если можно так сказать, **при**нижает героя, делает лириком по мировосприятию, мечтателем, меланхоличным певцом. Впору сказать — рефлектирующим деятелем культуры, каких теперь немало. Об этом свидетельствует и предсмертная песня Лачплесиса, с ее эмоциональной неконкретностью, не говоря уж о текстах первой части. Меня не покидает



Фото АНДРИС КРИЕВИНЬШ

мысль, что он погиб, так и не поняв, с чем, собственно, боролся. И, надо отдать должное Маре Залите, это ведь так типично!

Отсутствие интеллектуальной базы у Лачплесиса — вот одна из причин, почему самыми сильными в тексте (а благодаря качеству постановки — и в спектакле) стали Ликцепуре, Дитрих и иже с ними. (А я еще ни слова ведь не сказал о музыке и вокале!) Во-первых, в их лице мы сталкиваемся с **организованной** отрицательной силой. Опять — к сожалению, но нельзя же всерьез принимать два выхода Кокнесиса с декларацией того, что он давний друг Лачплесиса, и что за ним стоит весь мир. Только и дел, что:

Строй нам родину,
Я буду носить тебе деревья.

(Кокнесис — Лачплесису)

Опять приходится верить на слово. Воистину, при поддержке Мары Залите Лачплесис обитает в вакууме. У него отнята возможность умного, толкового диалога (разве что в дуэте с Лаймдотой). Лачплесиса или поучают, или сопровождают, «влагая в него» некие самим Лачплесисом не осмысленные мудрости. Так действуют оба персонажа женского рода, которых он посещает, — Стабурадзе и Дочь Севера. Жажда любви — дело хорошее, но разве матриархальные заботы не задевают малость достоинства героя? Я думал об этом при виде мизансцены Валдиса Луриньша — когда в центре на возвышении стоят советчицы, а «у их ног» — Лачплесис.

При всем при том энергичные дипломатические переговоры с Кангарсом проводятся «на высшем уровне». В них видны и позиция врага, его тактика и цели, и постепенное внутреннее перерождение Кангарса.

И это достаточно безжалостное суждение о времени, в котором мы живем, если нам предлагают наблюдать, КАК СТАНОВЯТСЯ ПРЕДАТЕЛЯМИ, отнимая возможность понять, КАК СТАНОВЯТСЯ ГЕРОЯМИ. Не на-

прасно Дайга Мазверсите в статье о рок-опере саркастически замечает «ищите Лачплесиса в народе кангарсов!» (см. «Падомью Яунатне», 27 сентября 1988 года).

Несомненно, нельзя требовать, чтобы короткое либретто вместило тончайшие сюжетные перипетии. Чтобы даже без слов было ясно, где, когда и что происходит, из правильно смоделированной ситуации, из «расстановки фигур». Но я уверен, что существующий калейдоскоп картин слишком фрагментарен, и, наверно, именно потому становится неясной концептуальная обоснованность главного героя (а ведь рок-опера названа именем Лачплесиса, а не Кангарса или Кокнесиса!). Можно сказать и так — в либретто слишком много поэзии и мало драматургической четкости. Это — важная причина, по которой автор музыки не избежал частого солирования, так что музыкальный спектакль распался на отдельные концертные номера, которые теперь в качестве песенок или фрагментов эксплуатирует Латвийское радио. Я, конечно, не считаю, что отдельные музыкальные темы «не имеют права» стать самостоятельными и дорогими людям мелодиями, даже хитами и шлягерами. Но заложенная в либретто фрагментарность развития образов сильно мешала композитору расширить эти образы музыкальными средствами. Более того — стараясь объять необъятное, набив до отказа либретто персонажами и персонажиками, Залите произвела «концертизацию» рок-оперы, но запланированный серьезный пересмотр образов, сюжета, традиций остался на уровне заявки. Но многое можно простить, списать за счет первой попытки, в том числе и ошибки. Ибо, как известно, лучше все же учиться на своих, а не на чужих ошибках.

(Продолжение следует)

ЧТО СКРЫВАЮТ ПИСЬМЕНА?

III ОБЗОР ПОЧТЫ

Редакция и я благодарны всем, кто звонил и писал нам, чтобы помочь в расшифровке знаков, высеченных на скале. Я получил много десятков писем, авторы которых выражают свое сочувствие, дают советы, подсказки и сообщают даже телефоны и адреса знатоков в той или иной области, которые, по их мнению, могут помочь в расшифровке и датировании знаков.

Спасибо также тем, кто послал сердечные поздравления и наилучшие пожелания успехов в дальнейшей работе! 80-летняя бабушка, Милда Зайкова своей мудрой совет и пожелания выразила в виде латышской народной песни:

Пятьсот чужих людей,
Сто один молодец,
Пятьсот не тревожили меня,
Потому что я в этой сотне.

А. Райбате из Катлакалнса призвала на помощь свой опыт и свои знания: «Таковыми знаками в лесу метили деревья, на которых находили рой. Оно принадлежало нашедшему, который и вырезал свой дворовый знак. На деревья, отмеченные таким образом, никто из других хуторов уже не лазил. Такие же знаки и на рабочих инструментах, например, на ручках грабель, вил, на ведрах, на косяках дверей или на дверях амбаров. В селе Юркалне Вентспилсского района или, по старому делению, — Юркалнском погосте Айзпутского уезда — такие знаки можно было встретить на каждом дворе еще до 1930 года. Я собрала их и послала в Павилостский краеведческий музей. Поэтому все эти знаки и остались у меня в памяти.

Но почему эти знаки надо было вырезать на отдельной скале? Могут быть самые различные толкования. Например, эта скала или камень обозначали регистрационный знак волости.

Могло быть и так, что с этого места племя уходило на какую-то большую битву, и тут было записано, к какому хутору принадлежал каждый из ее участников».

Лина Карлсоне, которая сейчас живет в Лиелварде, в 1920 году сама помогала выжигать эти знаки на рыболовецких снастях. «Эти ливские знаки употреблялись еще во времена моей бабушки, для обозначения рыболовецких принадлежностей. Каждому рыбацкому дому принадлежал какой-нибудь знак. Если семья увеличивалась, тогда знак дополнялся черточкой, крестиком или точкой. Но основа знака должна была быть сохранена. Один брат брал себе основной знак, а другой добавлял к нему какую-нибудь черточку или точку. Как например: XX·P·P·OO/

И так далее. А вдоль пляжа стояли ряды кольев, на которых рыбаки сушили свои сети. Каждый рыбак первый ряд своих колеев отмечал этим знаком. К сетям были привязаны поплавки, с выраженными знаками того дома, кому они принадлежали. Когда сети бросали в воду, к нижним подборам привязывали камни, чтобы сети шли в воду вертикально, а к верхним подборам были прикреплены поплавки, которые держали сети на поверхности. Если буря спутывала сети или выбрасывала их на берег, рыбаки знали, что кому принадлежат».

Здесь мне бы хотелось добавить, что знаки отдельных домов (их имущества или хуторов) схожи с мифологическими «божьими знаками» и не противоречат древнему их содержанию. Так что это не может быть аргументом, с помощью которого можно отбросить гипотезу, что на одинокой скале с помощью этих знаков была оставлена какая-то информация, известие.

Скайдрице Саркане из Риги пишет: «Что касается письменных знаков нашего народа, то уже с детства чувствую, что у них есть свое значение, что это не только орнамент. И я в свое время пыталась кое-что выяснить, но получила дружеский совет — если хочешь работать, не лезь, куда не надо — перестань заниматься ворожбой... Откровенно говоря, в то время наши историки или ничего толком не знали, или просто не хватало смелости все открыть».

Литовский археоастроном и исследователь древнего календаря доцент Либертас Климка мне пишет: «Я приветствую Вашу дальнейшую работу над этими знаками, с этими письменами. Каждая находка очень важна для изучения духовной культуры Балтийских племен. По моему глубочайшему убеждению, письменность в Прибалтике существовала!»

Но В. Барканс из Огре пишет еще более интригующе: «Хочу несколько проинформировать Вас об услышанных мною рассказах, часть из которых, к сожалению, подзабыл, потому что времени прошло очень много, почти столетия. Во всей полноте восстановить их не смогу, потому что в те времена у меня интерес к истории и письменам был минимальный, как у студента, который интересовался только инженерным делом. Ваша статья разворошила в памяти эти разговоры и воспоминания о них.

Это было осенью 1942 года. Мой дядя, врач и в свое время депутат Сейма, Винцис Юрьевич Барканс, родившийся в 1889 году (умер он в 1947-м году), очень много рассказывал мне о древней латышской исто-

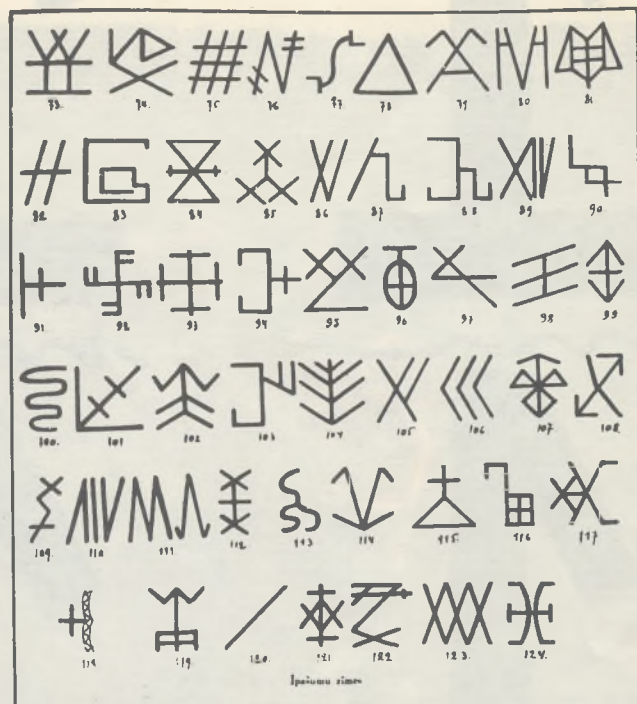
рии и о том, что у народов, живших по течению Даугавы, была своя письменность, было много письменных источников, сведений и данных, но, с вторжением немецких крестоносцев, все было разграблено, а часть сожжено, но тем не менее, много материалов из замка Беверины, где располагался вождь Каупо, и, особенно из собраний латгальского замка Ерсика было собрано и вывезено в Рим, где поступило в распоряжение Ватикана, как свидетельство подчинения. Об этом моему дяде рассказывал католический пастор, монахи, даже епископ, потому что, в силу своих врачебных обязанностей, он постоянно пользовался всех руководителей Рижской католической церкви. Вспоминаю, что он упоминал католического священника Франциса Трасумса, архиепископа Антония Спринговича и других. Остается только пожалеть, что осталось так мало воспоминаний, которые, может быть, могли бы спасти много ценных сведений, но сегодня уже тому ничем не поможешь».

Очень любопытно, что два человека, совершенно независимо друг от друга, живущие в разных местах — Янис Асариньш в Ливанах и Юрис Перконс в Симферополе — пришли к одному и тому же невероятному выводу: таинственная скальная стена с буквоподобными знаками — это запись наших народных песен (!?)

Юрис Перконс пишет: «Анализируя изображение этих письмен, рисунки письмен американских ацтеков, древнегреческие орнаменты, которые дополняют или, точнее говоря, следуют за темами изображений, и все остальное, что могло попасть мне в руки, я пришел к выводу, что ничего особо трудного в этой области нет.

Самое главное — не стоит думать, что изображения письмен оставили нам полудикари. Они оставлены людьми, которые, возможно, были куда мудрее нас. На вопрос, могло ли это быть реальностью, отвечаю — могло, потому что людей, которые больше остальных знали о всех прочих, никогда не любили. Их забывали камнями, сжигали на кострах, загоняли в концентрационные лагеря, в сумасшедшие дома и вообще во все времена, и во всех государствах их уничтожали всеми мыслимыми способами.

Таково мое небольшое вступление. Тем не менее, во все времена, несмотря на варварское отношение, были люди, отличавшиеся высоким полетом мысли, которые старались всеми силами оставить хоть часть своих знаний будущим поколениям в надежде, что когда-нибудь придет время, когда человечество поймет, что без интеллигенции жить дальше будет трудно».



Знаки владений в Ниценом Юрмаличемсе.

И дальше автор предлагает ключ к чтению знаков:

- черточкой всегда обозначали дорогу (как и сейчас)
- | вертикаль — путь во времени, период времени
- ≡ начало пути
- || начало времени и т. д.
- обжитое место, как сейчас обозначают город, поселок и т. д.

Существование человека автор изобразил следующим образом



До настоящего времени я больше всего был занят чтением научных текстов, и поэтому думаю, что различные проявления сущности человека можно характеризовать различными словами.

В вашем тексте, очевидно, наличествует содержание народных песен, и поэтому он требует изменения ближе к содержанию — скажем, знания о счастье, желание радости и тому подобное.

В ходе чтения я пришел к заключению, что некоторые знаки можно сократить:

- + буквально — все в прошлом, будущее для каждого или для каждого прошлое, все в будущем (смотря, откуда начинать читать): об этом можно сказать и так: и один и все, и в прошлом и в будущем, и по этому я читаю, как — все всегда.
- × буквально — труд, знания и практически готовая продукция — все; все, что человек может и желает.

Отдельная черточка может читаться в двух вариантах, поэтому правильнее было бы указывать ее центр с одного конца поперечинкой, скажем — труд X и знания X.

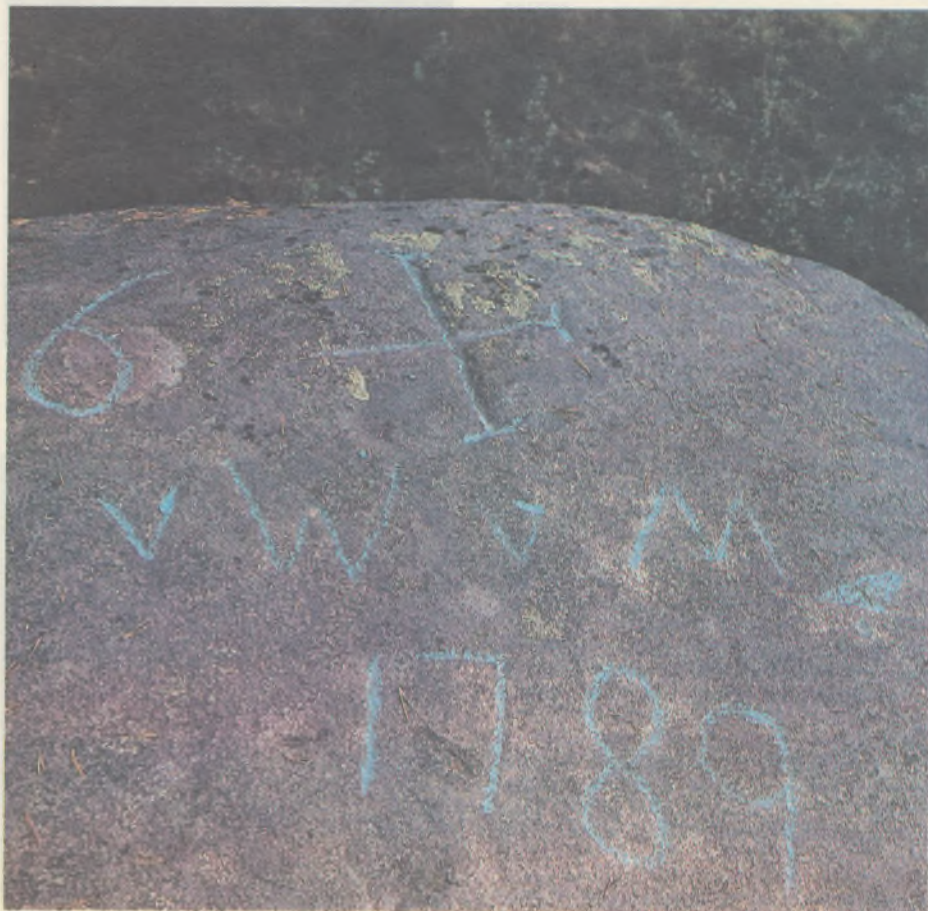
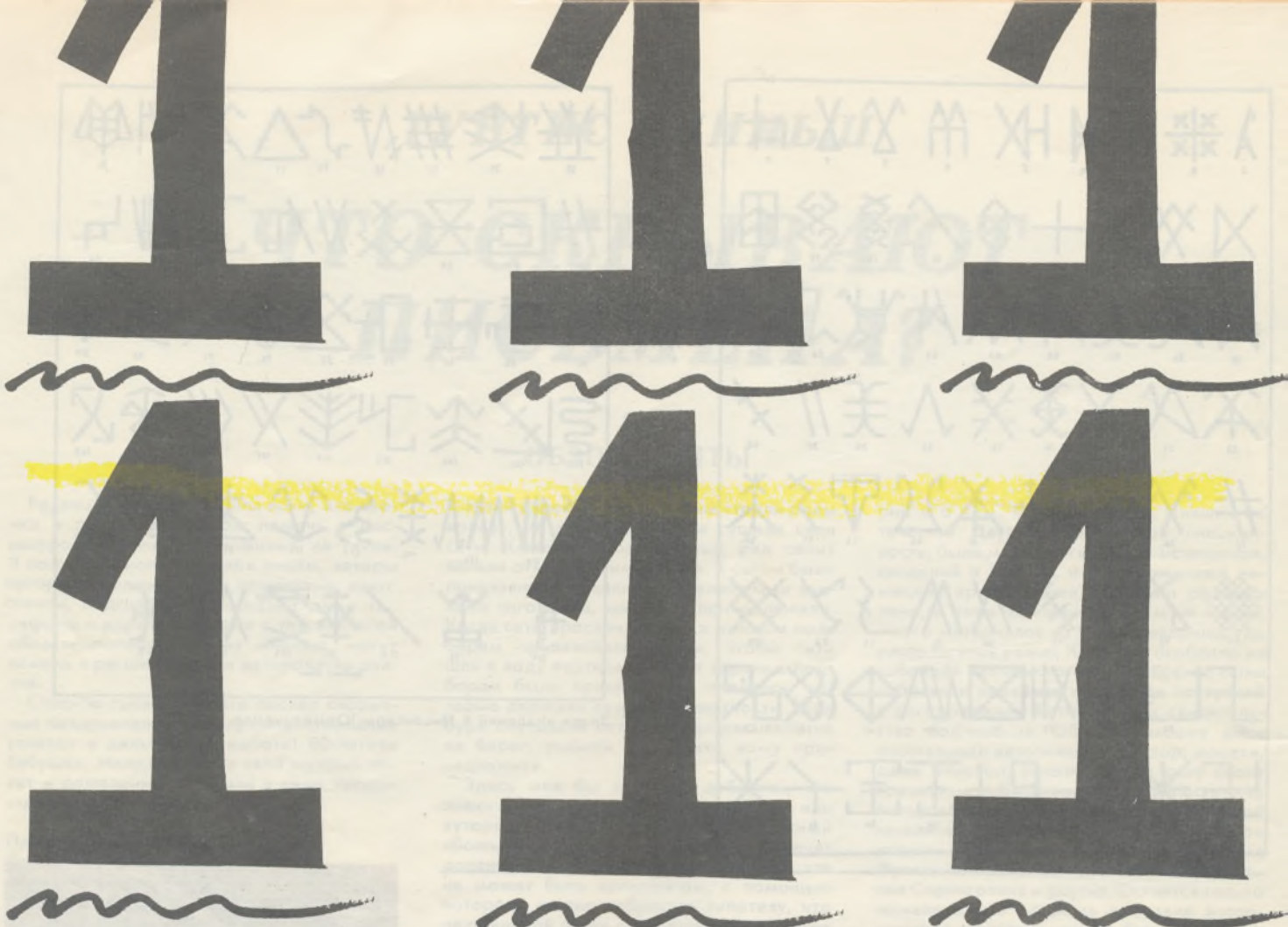
Вас интересуют места, названия окрестностей. Раньше каждая буква включала в себя большое содержание и состояла из отдельных черточек. Для этого необходим древний алфавит. На русском языке такой можно найти на 44-й странице книги «Археологические открытия 1981 года».



Камень Юргиши в Виесталве. Историческое происхождение до сих пор не выяснено.

Загадочный камень под Смилтене, свален с основы у хутора Вецзеллитес.





Возможно, это старинный пограничный камень в Вилькене, в болоте; с крестом и указанием года — 1789.

Вот как по этому методу Юрис Перконс читает письма на скале (привожу только фрагменты)

- X — все
- — дороги
- M — рабочие дороги
- X — все знания — все желания (все радости, все счастье)
- V — известные желания
- ⊗ — рабочие дороги для всех
- ⊕ — с уверенностью и радостью (желанием) начинаем общее будущее, все вместе
- = — начинаем идти (дорогу)
- O — дома
- ⊗ — все вместе счастливы и рады (знания и желания)
- — идем
- + — все всегда

Выглядит совершенно невероятно, почти фантастически. Но если зададим себе вопрос — что для древних латышей было самым дорогим из духовных богатств, что надо было занести в память, высечь на скале? Разве это не мудрость народных дайн, мудрость их формул? В контексте этого вопроса гипотеза Юриса Перконса уже отнюдь не кажется бессмысленной и уязвимой. Ведь пословицы и народные песни

были формулами мудрости этого народа, нравственным кодексом народа.

Янис Асариньш предлагает привлечь по помощи для дешифровки и специалистов по криминалистике, и психологические, а также математические методы с использованием современной вычислительной техники.

От жителя Валмиеры, от очень эрудированного краеведа Ояра Озолиньша, и поэта Артура Гобы я получил около полусотни писем. Читая письма на скалах с использованием другого метода, О. Озолиньш считает, что таким образом наши предки оставили весть о немецком вторжении в эти края. Будем надеяться, что он сам нам когда-нибудь разъяснит, как пришел к такому заключению.

Писем много, и все они самого разного содержания. Но самого долгожданного ответа от неизвестной латгалки, которая писала о камне Мары, вокруг которого венчали молодых, так и нет.

Только седоголовый батюшка Кучерс, который день за днем своей 80-летней жизни посвящал исследованию родного края, записал свои воспоминания о таком «брачном камне». «Думаю, что все происходило очень красиво. Не было так, что все, как скоты, собирались в кучу. Был свой порядок и свои обычаи; и когда рождались дети, и когда уходили старики. Нам надо искать и изучать народные песни, потому что другого материала очень мало.

В каждой общности, в каждой семье был человек, который все вел, всем руководил: давал имя, венчал новобрачных, провожал умерших. В народных песнях говорится о церкви Мары. Такого здания с колокольней не существовало, но рядом с каждым домом могло быть место с камнем или с деревом, где обитали божки, духи или хозяева дома. Так в поселке Лиго, на хуторе Яунрожи, такое святое место было в углу сада, у старой березки.

Когда я еще мог ходить, мне довелось быть на яунгулбенском хуторе «Озолинес». Там на верхушке горы стоит старый дуб. И сейчас сразу же можно определить, что это дерево не высаживали, что выросло оно в лесу, где, возможно, была целая роща таких дубов. И у дуба, рядом с ним, есть такое земляное возвышение, поросшее зеленью. И люди считают, что это был алтарь, на который возлагали пожертвования. А что касается новобрачных, слышал разговоры, что молодые, которые хотели быть вместе, несли цветы и клали их на алтарь. И тем самым были связаны на всю жизнь. В одном доме это мог быть камень Мары, в другом использовали другое имя. Там венчали молодых. Если на камне уже бывали высечены «божьи знаки», то в тот момент, когда совершалось венчание, никаких других знаков больше не высекали. В каждом ли доме были инструменты, с помощью которых это можно было сделать, и все ли это понимали — это еще один вопрос.

Собирайте вместе все, что только можно найти относительно жизни наших предков и их обычаев. Это — драгоценность.

В старом «Конверсационном словаре» сказано, что в Ранках у хутора Кежи был камень, которому люди возносили моления. Пастор приказал камень разбить. Я ходил мимо этих мест, когда возвращался с работы на папиросной фабрике в Кежах. На краю дороги была большая куча камней одного сорта. Почему люди не пустили в дело готовые осколки камней, коль скоро в Кежах все амбары сделаны из валунов? Мне пока-



Камень у хутора Вецзеллитес после водружения.





Звездное небо в камне. Найден в Литве, в Утенском районе. Репродукция по книге Пране Дундулиене «Lietuvių Liandes kosmologija», Вильнюс, 1988.
Второй камень в том же Утенском районе. Изображение Солнца, Луны и звезд.

залось, что это и был тот самый камень, который пастор приказал разбить. Но люди боялись использовать остатки этого святого камня для строительства своих домов. Так они там и оставались. То же самое и в Галгауске, с камнем Мары. На его месте — другой расколотый камень, но и его осколки никто не брал, боясь божьей кары.»

Я. Кучерс

По поводу знаков, высеченных на камне Берки («Автос № 7, 1988, стр. 32) написал один пожилой человек из Эстонии Э. Кирсис. Он высказал мысль, что там был высечен древний календарь, потому что до войны сам видел подобный календарь в Каге-рах (Эстония). Он был вырезан на лосином роге и приспособлен для того, чтобы носить с собой. С его помощью можно было следить за приходом полнолуния и определять дни пасхи. «Ставили одну отметку в весенний день по направлению к востоку и тогда до сева все месяцы были известны. На том камне и был такой календарь, только очень старый, каменного века», — пишет Э. Кирсис и пытается по памяти воспроизвести набросок, который может дать представление о древнем календаре на лосином роге.

Продолжая разговор о древних письменах, необходимо упомянуть сообщение художницы Бетти Страутниеце. В раннем детстве она жила в Мазсалаце, в «Блауви-няс». Прапрабабушка художницы жила более ста лет. Художница помнит свою столетнюю прапра... потому что как-то получила от нее порку. У прапрабабушки хранился на чердаке древний ларь, и она предупреждала свою праправнучку: «Только не подходи к моему сундуку и не открывай его!» Но запретный плод сладок. Бетти думала, что в сундуке хранятся вкусные варенья и как-то открыла его, за что получила от прапрабабушки хорошую трепку. После этого мать Бетти сказала: «Ну зачем тебе понадобилось лезть в этот ларь? У нашей бабуленьки там хранятся клубки песен».

Для сведения. Бывший пастор из Вецпиебалги, доктор теологических наук Эдгар Юндзис вел исследование, касающиеся узелкового письма, которое еще в этом столетии существовало в латышской колонии, расположенной в Литве, в поселке Висманты. Колония эта представляла собой часть тех ста тысяч земгалов, которые, не сдавшись перед мощью ордена, в 1290 году ушли в ссылку в Литву. Когда царизм запретил в Латгалии, Литве и Польше книги и письменность, древним потомкам земгалов, по всей видимости, очень пригодились знания о древнем искусстве узелкового письма.

Исследования Эдгара Юндзиса об узелковой письменности из Висманты были напечатаны на машинке во многих экземплярах, один из которых находился в фольклорном хранилище. Но у геолога Викторса Гравитиса, который также исследовал латышское узелковое письмо и особенно в Висмантах, сохранилось одно вещественное доказательство — цветной клубок узелкового письма. Только, к сожалению, нет больше никого, кто мог бы прочитать язык этих петель, узлов и протяжек. Об узелковой письменности висмантцев можно прочесть в журнале «Вокруг света» за 1987 год, № 6, стр. 38—41.

В отдельную группу надо выделить те письма, авторы которых продолжают анализировать латышское узорчатое письмо или содержание старинных букв, этимологию и названия. Оспаривают, дополня-

ют, улучшают; выдвигают и совершенно новые версии. Опубликовать все эти письма нет никакой возможности. Если бы у меня теперь была возможность по-новому составить таблицу мифологических знаков, она была бы несколько более своеобразна, несколько богаче и правильнее.

Некоторые авторы оспаривают название елочек Лаймы. Викторс Гравитис считает, что название «метелочки Лаймы» неправильное; его ошибочно образовал Эрнест Брастиньш. В сущности, то, что мы хотим сейчас называть метелочками Лаймы — не что иное, как изображение трех месячных циклов: молодой, полный и старый (если читать слева направо) . . . >>> | | | <<<<<< Да, действительно, прекрасная девятиречная система. Три раза по три дня — молодой Месяц (в этой системе каждая черточка изображает три дня). Трижды по три дня — полный месяц и трижды по три дня — старый.

3+3+3 + 3+3+3 +3 3 3

> > > | | | < < <

Вот основы жизни и счета древних латышей! Числа, которые мы слышим в народных песнях, сказках, верованиях и сказаниях («Через тридевять дней . . .» — то есть, через месяц). Если помните, девятиречную систему мы видели недалеко от «божьих знаков» в календаре, вырезанном на скале. Но, может быть, пути Лаймы каким-то образом сошлись с фазами Луны и в обоих этих названиях нет противоречия?

Викторс Гравитис считает, что Лайме принадлежат и Огненные кресты (крест крестов \oplus и свастика \otimes), потому что они одновременно означают знак и огня, и любви. Чтобы раздобыть огонь, трут друг о друга две палочки. Но и для любви необходимы двое — «Одно полено не горит» (древняя народная поговорка).

Если вы чувствуете неподдельную заинтересованность в глубоком изучении наших мифологических знаков и их этимологии, тогда советую прочитать «Сколотау Авизе» за 7 сентября 1988 г. В этом номере Модрис Слава выступает перед читателями с интереснейшими мыслями и идеями. Он, например, считает, что столь широко распространившийся сегодня знак Аусеклиса по сути не является таковым — латышским национальным знаком должен был быть Юмис и т. д.

А теперь о моей грубой ошибке, проскочившей в 1-м номере «Авотса», которую никто до сих пор не заметил. Сам я ее обнаружил только на выставке плакатов в Цесисе, где на афише знак Мары был напечатан вверх тормашками. Треугольник Мары, противостоящий знаку Бога, должен представлять острым углом вниз.

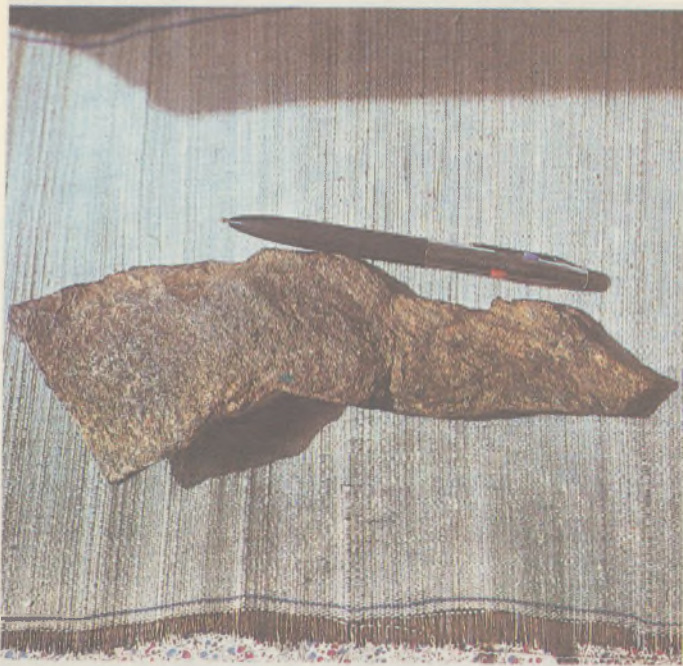
Так что, исправьте, пожалуйста, в первом номере журнала треугольник Мары следующим образом: — ∇ ! Это ошибка, по всей видимости, возникла в тот момент, когда художественный редактор наклеивал на макете подготовленные изображения символов напротив их наименований. В русском тексте треугольник Мары наклеен правильно. Но в русском номере, к сожалению, другая беда. В седьмом номере журнала под снимком камня Екаба Беркиса помещен текст, предназначенный для камня Спарескална из Драбежской волости.

Некоторые читатели, возможно, скажут, что все, что тут напечатано — только разговоры, эмоции и переливание из пустого в порожнее без каких-либо наглядных



Таинственные камни со знаками невыясненного содержания в Лимбужском районе, на хуторе Катвари у Мужкални.





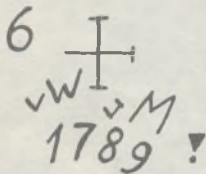
Осколок, найденный возле скальных подписей, — возможно, инструмент, которым высечены древние знаки и календарь (25×8×3 см).



Своеобразно отбесанный красный гранит в Варкали. В народе именуется креслом Герцога.

доказательств. Поэтому я и хотел бы перейти к той группе писем, содержание которых является самым важным для культурной истории Латвии. Это сообщения, в которых говорится (и этот разговор продолжается) о находках конкретных объектов. Авторам этих писем я хотел бы выразить особую благодарность!

Янис Эйхвалдс из Вилкене Лимбажского района сам вел нас два километра по болоту, где вода порой заливалась за голенища сапог. Мы подошли к большому белому камню в середине болота, на котором были высечены такие знаки:



Размеры камня 2,5 на 2,2 м, высота 0,6 м, окружность 7,7 м. Высота высеченных букв и цифр 15—20 см. Исходя из даты, можно считать, что 200 лет назад этот камень отмечал какую-то границу.

Но в том же самом Лимбажском районе, куда на хутор «Муйжжални» в Катварах нас пригласили, мы измерили куда более таинственный камень, знаки на котором, по всей видимости, еще старше. Как видите, на всех трех камнях высечены изображения, напоминающие ласточки в полете, что-то вроде силуэтов реактивных самолетов. Хозяин «Муйжниеков» вспоминает, что и на четвертом камне был знак, но камень этот был поднят механизмами трактора. Знаки на камнях вырезаны тщательно и глубоко. Особенно на третьем камне — бороздки до 5 см шириной и до 3 см глубиной, хорошо отшлифованы. Приходит мысль, что они могли быть сделаны каменными инструментами. Между первым и вторым камнем расстояние 27 м, между третьим и вторым — 57 м.

Таких знаков видеть еще не приходилось. Допущение, что это могли быть камни, отмечающие какие-то границы, при-

ходится сразу же отбросить, ибо с какой стати четырем таким камням находиться в одном месте? Глядя на стоящую в отдалении синюю полоску леса и на знаки на камнях, склоняешься к мысли, что здесь была святая гора наших предков или место, откуда они наблюдали за звездами (или, откровенно говоря — обсерватория древних латышей). Редко где в Латвии можно встретить такие пространства, в большом отдалении от которых стоят синие громады лесов. Идеальное место для наблюдений за восходом солнца. На востоке, в стороне озера Катвари сейчас стоит лес. Но кто знает, что здесь было тысячи лет назад? (Первым о наблюдениях за календарем наших предков стал говорить краевед Оярс Озолиньш.) Камней на этой возвышенности много. Может быть, удастся еще обнаружить камни с высеченными знаками? После недолгих поисков, мы нашли еще один камень с выдолбленным отверстием. На втором, то есть, — на среднем камне центральная линия была строго перпендикулярна направлению север-юг, иными словами, показывала осеннее и весеннее равноденствие — восход и заход солнца осенью и весной. А обе отметки по обе стороны от центральной линии примерно показывали восход и заход солнца во время летнего солнцестояния. Тем не менее, линии знаков на третьем камне обладали совсем другими углами, и их направления не совпадали. Может, камень сдвигали с места? И зачем были три камня, предназначенных для визирования? Разве не хватало одного? Думаю, что имело бы смысл побывать здесь и археоастрономам.

Не меньшую радость доставило нам и письмо Яниса Клявиньша из Саласпилса, в котором он рассказывал о своеобразном камне у Вецзеллишей в Смилтене. Этот камень, высотой в 1,5 м и шириной в 0,7 м, когда-то стоял вертикально на плоском постаменте белого камня, напоминающая призмистый столб. Но в неизвестные времена он упал или был сброшен. Разлом имеет форму неправильного треугольника. Очевидно, что сердцевина камня подвергалась грубой обработке. Самое интересное, что на верхушке камня выдолб-

лено углубление довольно правильной овальной формы — 6 см глубины, 37 см в диаметре. Можно считать, что этот камень мог бы относиться к типу блюдобразных камней, если бы он не был столь высок. Жители окрестных домов, которые не являются для этих мест коренными жителями, называют камень «часами». Но считать этот камень солнечными часами довольно затруднительно. Цилиндрическое выдолбленное углубление не было нужно для этих целей, и большая высота камня не позволяла даже рослому мужчине увидеть тень от солнца без того, чтобы не прибегнуть к подставке или лесенке. Сущность и предназначение камня в Вецзеллишах пока остается загадкой.

Авторы многих писем указывают на существование камней с высеченными знаками креста. Чаще всего это камни, отмечающие границы. Юрис Шкепацс около Алои показал нам целую кучу камней, сдвинутых трактором в сторону, где на одном из камней высечено нечто вроде Креста Мары (огненный крест). Валун очень больших размеров, и полностью высеченный знак не удалось осмотреть — его закрывают другие камни. Но в той же куче камней есть и другой, по окружности которого есть нечто вроде высеченного пояса. Где первоначально находился этот камень, теперь уже не выяснить.

Хозяева хутора «Варкали» на берегу Венты показали нам Кресло Герцога — валун красного гранита примерно в тонну весом, в котором высечено кресло грубой формы с высокой спинкой. Камень отличается острыми точными углами и заглаженными краями. У второго камня — форма прямоугольника 85 на 60 и на 35 см. Их перевезли из Герцогского порта (?). Там когда-то было много по-разному обработанных камней. Но в 1926 году все эти камни отвезли для строительства Скрундского железнодорожного моста, — рассказывает старый хозяин дома Варкали.

— С ума сойти! Такие исторические камни! И зачем так далеко?

— Видишь ли, камни-то четырехугольные. Сразу тебе готовый материал. И название нашего дома не означает, что, мол,

тут плавил медь, а камни обрабатывали. Медь тут никогда не плавил. (Varš — Медь).

— Ну тогда откуда такое название?

— Это означает сокращенное выражение «Если можешь, тогда куй», а если убрать окончания...

(Тут непереводаемая игра слов по-латышски: Ja vari, tad kall!)

Недалеко от этого места, на берегу Венты, стоит примитивный, самодельный каменный памятник. Он представляет собой два таких же гранитных валуна (85 на 55 и на 55 см). Памятник стоит на том месте, где 28 марта 1944 года, спасаясь вплавь через Венту, от фашистских пуль погибли Эрнест Каулс, отец Эдгара Каулса и его товарищ Юрис Рейхлерс. На пути к Герцогскому порту, на краю пашни, мы увидели еще один полуобработанный камень. Но у «порта» нашли еще три, оставшиеся от тех, которых не успели вывести на строительство моста в 1926 году. Но где тут логика? О каком Герцогском порте могла идти тут речь, если на пути от Скрунды до Ленас не сосчитать мелей и перекатов?

Нам разъяснили, что герцог строил здесь порт, но не успел довести дело до конца. Да, Герцогский порт в самом деле недалеко от Венты, как участок 10 м на 15 м синей реки. Был ли этот участок искусственно выкопан? Местные жители называют это мини-озерцо Катлеровым адом, потому что оно очень глубокое. Неужели в самом деле обнаружен доселе неизвестный порт герцога? Нам кажется, что в глубокой древности была большая каменоломня и, возможно, место обработки камня. Их обрабатывали тут же на месте, где их удалось найти. И отсюда самыми разными путями везли на места, где они требовались для строительства. Возможно, что их перевозили на плотах по Венте. В пользу этого допущения свидетельствует рассказ обитателей Варкали, которые рассказывали, что здесь было очень много больших камней. Вся округа была в валунах. И такое положение сохранялось, сколько их отсюда не вывозили и не взрывали. С 58-го по 60-ый годы у нас стекла вылетали, так здесь грохотали взрывы. А после этого камни везли на каменоломню, рассказывают обитатели Варкали.

Анна Робежнице рассказывает об очень своеобразном крестообразном камне в доме своей бабушки в Вецпиебалге. Крест на камне был не вырезан, а наоборот, рельефно выдавался на поверхности. К тому же в тех местах было такое же своеобразное сборище камней. Мне кажется, что крест на камне — это естественное природное образование. Конечно, не видя его, трудно прийти к определенному заключению. Как об этом камне, так и о многих других, о которых пишут авторы писем: туда надо ехать и проверить на месте. Ясно, что информации из присланных писем хватит для обследования на все последующее лето.

Многие пишут и на другие темы. О метеорных кратерах, о больших родниках, о пещерах, провалах, разломах земли и даже о появлении настоящих привидений. Спасибо вам всем!

Остается лишь сожалеть, что многие знаки на камнях, о которых сообщалось в письмах, представляли собой лишь игру природы. Но ни в коей мере не испытываю претензий к авторам таких писем. Потому что самое интересное в том, что выезжая на место, никогда не зная, что в конце концов удастся обнаружить.

В Лиепайском районе около озера Папе



На переднем плане гранитная глыба; время обработки не известно. Внизу Катлеров ад, он же порт Герцога, за ним — Вента.

мы уже два года ищем камень с непонятными знаками. Этот камень упоминается в изданном до войны «Конверсионном словаре». В течение многих лет его своими глазами видели многие свидетели. Мы исходили восточные берега озера Папе вдоль и поперек, но хитрый камень, на котором должно быть девять знаков, так и не дается в руки. Неужели его в самом деле извлекли из озера и вывезли в другое место? Но ведь и в таком случае были свидетели. Нельзя же в самом деле тяжеленный камень весом в несколько тонн, как в сказке, перенести по воздуху!

Как видите, все новые открытия являются как бы со стороны, и не только в том, что касается знаков на камнях. Тем не менее и в том, что относится к знакам на камнях, появилось небольшое, но интересное открытие. Скала из песчаника, на которой вырезан древний календарь и изображения горы Мира, испещрена различными формами выветривания — большими и малыми пещерами, провалами, углублениями, полочками, навесами. Красиво, можно сказать. И на одной такой полочке в 17 м от календаря на скале, в устье небольшой пещерки, я нашел, можно сказать, каменное лезвие размерами 25 на 8 и на 3 см. Камень этот прекрасно ложился в руку, как подлинный инструмент, да и по своему внешнему виду напоминал инструмент, орудие труда. Точно, как орудие времен палеолита. Если это случайно обнаружившееся каменное орудие держать в руках, то на рукоятке нетрудно разглядеть голову животного с вытянутой шеей.

Нет ни малейших сомнений, что этот обломок камня здесь когда-то оставил человек. Лезвие обломка не имеет отношения к известняковой породе скалы. Ни одно животное не могло притащить его

туда. Потому что ему тогда пришлось бы подниматься на высоту полутора метров по вертикальной стене известняка, где находится вход в пещерку. Еще интереснее тот факт, что человек оставил там этот обломок довольно давно. Об этом свидетельствует факт, что каменное орудие было покрыто наплывом песка толщиной в 5—10 см. Трудно подсчитать, как долго наплывы и приносимая ветром пыль хранили орудие под своей толщей. Ручаться нельзя, но анализ всех фактов приводит к заключению, что это своеобразное каменное лезвие использовалось как орудие, при помощи которого высекался каменный календарь и другие знаки. Когда я взял его в руку, то убедился, что и сегодняшний инженер не мог бы создать более удобное и подходящее орудие для этой цели — резьбы по камню. И еще: острый конец каменного лезвия совпадает с профилем вырезанных в известняке бороздок. Конечно, я не думаю, что это в самом деле орудие труда эпохи палеолита, хотя и его внешний вид и приемы использования совпадают с данными эпохи палеолита. Не думаю, что красивая пластическая фигура на «рукоятке» этого случайного орудия создана специально. Это могла быть всего лишь случайность, которая, тем не менее, придала этому инструменту еще большую ценность.

Что говорят ученые о мифологии? Наши ученые молчат. Но прошлым летом в Литве вышла исключительно интересная книга со многими иллюстрациями: Пране Дундулиене: «Lietuvii Liaudies Kosmologija», Vilnius, Mokslas, 1988». Будем просить и настаивать, чтобы в наших журналах появились хотя бы фрагменты перевода этой книги, потому что на латышском языке книгу, вышедшую у соседей, мы можем ждать неизвестно сколько времени.

ДОБУЖИНСКИЙ И ЛАТВИЯ

С Латвией в 1920-х годах была связана жизнь и деятельность известного русского графика, живописца и сценографа Мстислава Валериановича Добужинского (1875—1957). Передо мной тоненькая книжечка-каталог «Художественная выставка М. Добужинского в Рижском городском художественном музее. 1924—1925». Выставка эта состоялась в «графическом кабинете» музея с 28 декабря 1924 по 26 января 1925 года. Выдающийся представитель «Мира искусства», вдохновенный певец Петербурга-Петрограда использовал в каталоге выставки виньетку из иллюстрированной им в 1922 году повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи». Еще совсем недавно художник бродил по милым его сердцу улицам Петербурга и с чувством выражал свои мысли в одном из стихотворений:

«Я ходил по Петербургу ночью,
Белой ночью, вдоль пустых каналов,
И холодные сжимал перила,
Наклоняясь над водой темной.
В тихом зеркале канала спали
Опрокинутые стены улиц,
И в зеленом небе над домами
Золотился шпиль Адмиралтейства.

Не у этой ли решетки видел
Достоевский Настеньку когда-то,
Как она стояла неподвижно,
Глядя в воду черную канала...



Обложка каталога выставки 1930 года

«Есть Петербург Пушкина, есть Петербург Гоголя, есть Петербург Достоевского, есть Петербург Блока и Петербург Александра Бенуа в «Медном всаднике» и «Петрушке». Есть и Петербург-Петроград Добужинского».¹

А незадолго до выставки, с 1922 по 1924 год он был профессором Петроградских Свободных художественных мастерских, где преподавал будущим графикам основы композиции, создавал декорации для многих театров Советской России, участвовал в украшении улиц и площадей в дни государственных праздников, занимался книжной и прикладной графикой, активно работал в различных общественных комиссиях. М. В. Добужинский был заместителем председателя Совета петроградского Дома искусств и подписал членский билет латышского скульптора Теодора Залькалнса.² Искусство Добужинского высоко ценил А. В. Луначарский, его творчеству посвящены многие статьи и монографии.

На исходе 1924 года семья Добужинских приехала в Ригу, откуда затем переехала в Каунас, а в конце 1930-х годов художник переехал на жительство в США, где и умер в Нью-Йорке в 1957 году, так и не увидев более «своего Петербурга». Однако «своей» Мстислав Валерианович мог считать и Литву — именно оттуда вели свою родословную его предки по отцовской линии, а первые упоминания о роде Добужинских встречаются в архивных документах Литвы уже с 1532 года. Отец художника окончил Вильнюсский кадетский корпус и прожил в Вильно до самой своей смерти в 1921 году. В Вильнюсе Добужинский окончил гимназию и всю жизнь любил этот старинный барочный город. В Каунасе он прожил с 1925 по 1939 год, и в этот период его связи с культурной жизнью соседней Латвии были особенно тесными.

Латышские художники, учившиеся, главным образом, в художественных школах Петербурга и других городов России, как и часть интеллигенции, хорошо знали искусство Добужинского по выставкам и художественным журналам — так, второй номер журнала «Аполлон» за 1911 год был посвящен его творчеству. А с 14 мая по 14 июня 1922 года в художественном салоне ЛТА в Риге (ул. Суворова, ныне — Кр. Барона, 4) была организована выставка картин и рисунков русских художников из частных коллекций.³ Единственный рисунок М. Добужинского был представлен историком искусства В. Пенгеротом, а акварель — банковским служащим А. Лаунагом. Таким образом, рижские любители искусства были подготовлены к более близкому знакомству с творчеством художника.

А теперь вернемся на некоторое время в Петербург 1920-х годов, каким его описывает в своих воспоминаниях график В. Милашевский: «Петроград в те годы был пустынным. С середины Лебяжьей канавки свободно можно было увидеть: вон к памятнику Суворова подходит Добужинский...

Мне так легко теперь, через пятьдесят лет увидеть Добужинского вписанным в этот пустынный, архитектурно гениальный пейзаж! Я вижу его на фоне Биржи и ростральных колонн. На фоне сфинксов с удыщими подле них рыбами или шагающего к себе на П линию на фоне «Авро-

¹ В. Милашевский. Вчера, позавчера. Л., 1972 г., стр. 156.

² См. Теодор Залькалнс. 100. Р., 1976 г.

³ ЛТА. Художественный салон, ул. Суворова, 4. Вход с ул. Паулуччи. Каталог выставки картин и рисунков русских художников. 14.V. — 14.VI. 1927. Р., 1922 г.

ры», которая стояла тогда у Николаевского моста, на том месте, откуда был сделан знаменитый выстрел.

В моем сознании он прирос к этому пейзажу. Его походка была несколько тяжеловата, его солидные ступни хорошо и прочно давили на гранитные плиты набережных, казалось, они специально были приспособлены к ним, как плавники рыбы к воде.

Он был высокого роста, на целую голову выше средней толпы. Со времени сомовского портрета он немного погрузнел, но сохранил поразительную элегантность, подтянутость и красивую постановку головы на никогда не сникающей и не пригибающейся шее...

... Добужинский всегда рисовал на улице. Так на моих глазах был сделан альбом «Петербург в двадцать первом году»...

... Я прожил с семьей Добужинского два лета в Холмоках, и меня поражала его вседневная подтянутость. Никогда я не видел его в подтяжках, в туфлях на босу ногу — летом-то, на даче, можно было бы позволить себе это. Но нет, Мстислав Валерианович был немислим в таком виде...

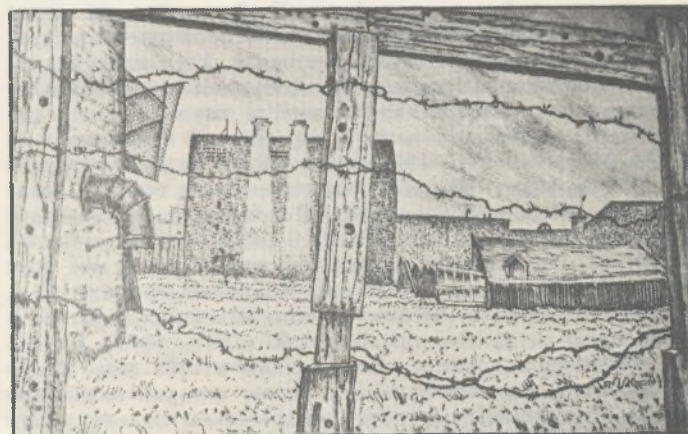
... Нередко спрашивают: как мог такой человек как Добужинский, с обостренным чувством дома, относящийся к своему делу с максимальной требовательностью, переделывающий по несколько раз эскизы, чтобы достигнуть наиболее сильного воплощения своих замыслов, не прощающий себе ни одной приблизительности, ни одной неточности, будь то графика или театральные эскизы, или рисунки с натуры, наконец, человек, полностью отдающий себе отчет в том, что он несет искусство народу и создающий свою ответственность перед этим народом, — как он мог покинуть свою Родину навсегда?! Мстислав Валерианович просто испугался бы этой фразы...

Он ведь не думал, что покидает, не думал, что он лишается Родины и что это произойдет навсегда. Сейчас прошло много времени с двадцатых годов, и не все факты могут быть поняты в том психологическом аспекте, в котором понимались тогда. До войны 1914 года люди уезжали за границу и приезжали оттуда «запросто». К этому относились очень просто, как к поездке петербуржца в Москву. Брели билет и ехали. И в начале двадцатых годов многие из уезжающих думали: «Поживем годика два-три за границей, пускай тут наладится жизнь, возникнет больше возможностей для развития культуры, мы тогда и вернемся». Слово «навсегда» даже не возникало в сознании отъезжающего...

... Помню его квартиру перед отъездом. Печально было смотреть на этот разгром, на эти сундуки на полу! Больно было видеть, как разорялось убранство квартиры, отмеченное изощренным вкусом. Ведь устраивал эту квартиру такой постановщик и декоратор, как сам Добужинский. Все цвета, все формы так гармонировали друг с другом! Приобреталось только то, что нравится. Все было обдуманно, выискано, взвешено на весах тонкого «мирикуснического вкуса»⁴.

Поздней осенью или в начале зимы 1924 года Добужинские прибыли в Ригу, нагрузившись множеством чемоданов с пестрыми наклейками разных гостиниц. Какой увидел М. Добужинский столицу Латвии? Другой известный русский художник И. Э. Грабарь вспоминал: «... Рига — город в высокой степени европейский... Я затруднился бы назвать другой город в России, кроме Петербурга и Москвы, который мог бы в этом отношении с ним конкурировать. И Киев, и Одесса, и Харьков много провинциальнее (...). К русским отношение отличное — везде говорят по-русски, охотно по-русски отвечают — в трамваях, на улицах, в магазинах, во всех казенных, государственных и общественных учреждениях».

«... условились мы с Пурвитом встретиться в одном кафе, самом большом здешнем. Битком набитые публикой залы, оркестр музыки, лакеи во фраках и крахмальных



рубашках, кофе, шоколад (и то, и другое со взбитыми сливками), пирожные всех сортов и торты, и, наконец, коньяки и ликеры, — все это до такой степени отдает почти «сороковыми годами», что моменты кажется маскараром. Я был один в мятой, некрахмальной рубашке — во всем этом громадном зале»⁵.

Мы уже знаем об отношении М. Добужинского к своей внешности. Знаем также, что ему, типичному представителю «Мира искусства» были одинаково близок как европейский, так и ретроспективно-русский дух. В Риге 1920-х годов всего этого было предостаточно.

Добужинские сняли две комнаты на улице Суворова (ныне Кр. Барона), в доме 49, квартира 2. Хозяйка кварти-

⁴ В. Милашевский. Вчера, позавчера. Л., 1972 г., стр. 156—173.

⁵ И. Грабарь. Письма 1917—1941. М., 1977, стр. 43, 45—46.

ры Эмилия Плате⁶ принадлежала к тем образованным женщинам, которые свободно владели русским и знали несколько иностранных языков. Вдова врача с двумя дочерьми, она еще до смерти мужа некоторое время училась в Латвийской Академии художеств на отделении декоративной скульптуры, которым руководил Б. Дзенис, занималась художественными ремеслами, а впоследствии организовала в своей квартире курсы художественного ремесла и рукоделия. Дочь Эмилии Плате Гита, которой в то время было одиннадцать лет, вспоминает: «Я тогда была маленькой . . . Когда же это могло быть? Отец умер в двадцать четвертом году — уже после этого. Мы жили на улице Суворова, на углу Стабу. В нашей квартире было семь комнат, из них две снимали Добужинские — угловую и ту, что рядом, бывшую столовую. У меня остались только отрывочные воспоминания. У него было двое сыновей. Один из них — Стива, как звали его домашние, тоже был художником. Если не ошибаюсь, он занимался эмалью живописью и живописью эмальными красками и не был особенно известен. Жена второго сына была актрисой. Жену Добужинского никто даже дома не видел без шляпы, она никогда не ходила в тапочках, а всегда в туфлях на высоких каблуках. Несмотря на бедность, они сохранили аристократические манеры. К Добужинским часто приходила какая-то родственница, которая организовала в Московском предместье частный детский сад.⁷ Если она ехала в поезде, скажем, в Юрмалу, то никогда не садилась прямо на сиденье — у нее всегда был с собой клетчатый платок, чтобы подстелить в третьем классе. Время от времени Добужинский ездил в Париж. Жена всегда сама упаковывала его дорожный чемодан, непременно укладывая маленькую подушечку, чтобы спать в поезде. В Париже Добужинский скучал по дому, по жене. Добужинские были первыми нашими жильцами и прожили у нас несколько лет. Я не помню, чтобы Добужинский работал дома, но когда в Риге готовилась его выставка, помню, как упаковывались работы.⁸

Дома Добужинский работал мало, да и подходящих условий в Риге у него не было. Но по своему обычаю он много рисовал с натуры, бродил по старому городу — 1925 годом датированы многие виды Старой Риги. Некоторые из них в фоторепродукциях П. Зонвальда он дарил хозяйке своей рижской квартиры, с которой в течение долгих лет поддерживал дружеские связи. У ее наследников сохранились репродукции работ Добужинского разных периодов с автографами художника, а также написанный в 1932 году пейзаж Укмерге с дарственной надписью.

На выставке 1924—1925 годов в Риге М. Добужинский показал публике 169 работ, выполненных в технике акварельной и масляной живописи, литографии, рисунки карандашом и тушью. В основном, это были виды городов — Петрограда и Москвы, русской провинции — Псков, Витебск, Тамбов, Литвы — Каунас, Вильнюс; Франции, Германии, Финляндии, Англии, Дании, Швейцарии, Италии, Голландии, созданные в разные годы (1901—1924). Пейзажи Каунаса, например, были сделаны в 1923 году, когда возвращаясь из зарубежной поездки, которая оказалась для него успешной — участие в парижском Салоне, заказ на создание декораций к «Евгению Онегину» в Дрезденской государственной опере (эскизы — 1923, постановка — 1924 года) — художник остановился в Литве и тогда же у него созрело решение на некоторое время уехать за границу. На выставке экспонировались также эскизы декораций и книжные иллюстрации. В периодической печати появились отзывы художников, прекрасно знакомых с художественной жизнью предвоенного Петербурга и с творчеством М. В. Добужинского — Г. Шкилтерса и У. Скулме.⁹

В марте — апреле 1925 года в Каунасе состоялись две выставки, одна из которых фактически была повторением рижской экспозиции. Во второй половине того же года Добужинский устраивает еще одну выставку в Риге, на этот раз в салоне книжного магазина Романовского на улице Валдемара (ныне ул. Горького), 17. Из пяти выставленных пейзажей Латвии три — это виды Старой Риги, причем два из них запечатлены на фотоснимках, подаренных автором Э. Плате, и перекликаются с записью в дневнике художника за 1925 год: «Рисовал Ригу, сделал четыре колорированных рисунка; наконец, изучил город».¹⁰ В отделе рукописей Государственной библиотеки Литовской ССР хранятся похожие виды Старой Риги, сделанные в технике перового рисунка тушью в том же 1925 году.

Будучи человеком энергичным и предприимчивым, М. В. Добужинский устраивал выставки довольно часто. Возможно, его вынуждали к этому стесненные материальные обстоятельства. Так, только в Каунасе с 1925 по 1931 год состоялось шесть персональных выставок художника, а в целом по Литве — около четырнадцати. Рижане снова встретились с искусством Добужинского в 1930 году в художественном салоне Альтберга на ул. Кр. Барона, 115.¹¹ Примечательно, что среди городских пейзажей и эскизов театральных декораций экспонировались пять натюрмортов — жанр, совсем не свойственный художнику. На выставке была отлично представлена его сценографическая деятельность — нужно сказать, что именно в эти годы его сценическая судьба складывалась довольно успешно: он с успехом оформлял спектакли в Париже и Нью-Йорке (1926—1929), Амстердаме (1926), Дюссельдорфе (1927) и Брюсселе (1928), в их числе «Летучая мышь» Балиева, «Ревизор» Гоголя, «Преступление и наказание» Достоевского и др. На выставке экспонировались также три вида Риги. Одобрительный отзыв о ней опубликовал Ю. Мадерниекс: «В маленьких, но симпатичных помещениях салона Альтберга открылась уже вторая выставка художника. Имя Добужинского латвийскому обществу хорошо знакомо еще с довоенных лет. Не однажды мы имели возможность видеть различные работы художника на выставках «Мира искусства» в Петербурге. Его графические иллюстрации, эскизы декораций, метко схваченные акварельные зарисовки Петербурга внесли свежую струю в художественную жизнь России того времени. Конечно, на нынешней выставке нет больше прежней живости, чувствуется некоторая усталость. Но и здесь проявился своеобразный лик его мира искусства, хотя и помрачневшего, проникнутого сумрачными настроениями. В последнее время автор обратился также к масляной живописи. Но его сила — в графике и акварели.

Живое дыхание зимнего Петербурга ощущается в картине «Английская набережная» (. . .). Интересен и акварельный набросок к гоголевскому «Ревизору» — «Номер в гостинице», созданный для Дюссельдорфского драматического театра. В нем переданы провинциальная примитивная простота, бедность и убожество; внимание зрителя приковывают серые, покосившиеся от старости деревянные ступеньки (. . .).

Как образцы графики высокого класса можно отметить плакаты «Русский балет в Брюсселе» и «Бал Оперы в Париже». На выставке представлено множество маленьких рисунков, эскизы костюмов и пр. Внимательно вглядываясь в них, зритель получает приятное впечатление целостности экспозиции. Стоит посмотреть эту интимную, одухотворенную коллекцию, особенно тем, кто следил за художественной жизнью Петербурга — здесь для них зазвучат нотки воспоминаний о когда-то виденном, пережитом . . .»¹²

⁶ Эмилия Плате (1891—1966) — специалист прикладного искусства.

⁷ Евгения Григорьевна Маклакова-Ступина, двоюродная сестра М. Добужинского.

⁸ Воспоминания Г. Ципарсоне (род. в 1913 г.) записал автор.

⁹ Г. Шкилтерс. Выставка работ М. Добужинского, «Латвис», № 984, 1925 г. Уга Скулме. Выставка Добужинского в городском музее. «Латвис карейвис», № 6, 1925 г.

¹⁰ И. Корсакайте. Литва, Латвия и Эстония в творческой биографии М. Добужинского. В сб. «Искусство Прибалтики», Таллин, 1981 г.

¹¹ Выставка М. Добужинского. Каталог. Р., 1930 г.

¹² Ю. Мадерниекс. Выставка М. Добужинского. «Яунакас Зиняс», № 30, 1930 г.

Подобное мнение о выставке высказал и Я. Силиньш: «Несколько лет назад художник устроил в Риге две выставки. Сейчас он работает в Каунасской художественной школе руководителем мастерской графики и декоративной живописи, одновременно создавая сценическое оформление спектаклей в Литовской государственной опере и драме. На выставке он не поражает нас новыми достижениями, но здесь мы видим своеобразное восприятие формы, цвета, а также вкус и неповторимость мироощущения художника. Оригинальное поэтическое настроение в изображении городской архитектуры по-прежнему остается характерной приметой рисунков и картин Добужинского».¹³

Более скептически был настроен Г. Шкилтерс, также выразивший в печати свои впечатления от выставки: «Во всех странах, где Добужинский бывал в своей эмигрантской жизни, он писал и рисовал дома, уличные сценки, тихие уголки, где старина словно затаилась от современного рационализма и все нивелирующего прогресса. Но рисунки эти, скорее, носят случайный характер и имеют значение быстрых набросков. Вообще весь подбор работ оставляет впечатление случайности, на выставке мало законченных вещей. Тем не менее ценители русской классики и русского прошлого найдут здесь и приятные сценки, и старых друзей».¹⁴

Сегодня, конечно, трудно выяснить количество посетителей выставки и их контингент. Любителей русской классики, о которых упоминает Г. Шкилтерс, в кругу рижской интеллигенции было немало. Есть все основания предполагать, что выставку посещала и школьная молодежь, причем не только из Риги, но и из провинции. В те годы заведующим бюро экскурсий при Министерстве просвещения был прекрасный знаток изобразительного искусства и энтузиаст экскурсионного дела Артурс Дзейверс.¹⁵ Включая в маршруты школьных экскурсий посещение художественных выставок, он всегда сам давал исчерпывающие пояснения. Сохранился составленный А. Дзейверсом план экскурсии по выставке Добужинского, в котором основные моменты составляют сюжеты и стилистика работ художника.¹⁶

М. В. Добужинский был разносторонним мастером. Он работал в плакате, прикладной графике, занимался оформлением и иллюстрированием книг, живописью, станковой графикой и монументальным искусством, писал стихи и оставил ценные мемуары, играл на любительской, или как мы теперь говорим — самодеятельной, сцене. Но, пожалуй, самым большим авторитетом Добужинский пользовался как сценограф. Он поддерживал контакты с рижскими театральными кругами. А. Моров в своей книге об актере и режиссере Михаиле Чехове, в 1930-х годах жившем и работавшем в Риге, цитирует письмо М. Чехова к М. В. Добужинскому, датированное 12 августа 1933 года:

«Национальная опера поручила мне вполне официально запросить Вас, согласны ли Вы поставить в Риге (со мной), приблизительно в октябре — ноябре, «Волшебную флейту» Моцарта. Директор Оперы Рейтер ждет Вашего ответа (...). Если Вы, дорогой Мстислав Валерианович, не имеете особых причин колебаться, то было бы очень хорошо, если бы Вы дали знать г-ну Т. Рейтеру о Вашем согласии, пока я еще здесь. Мож [ет] б [ыть] он найдет нужным передать Вам что-нибудь через меня. Он, собственно, поручил уже мне начать с Вами (в случае Вашего согласия) хотя бы письменное обсуждение плана постановки, но мы с Вами на днях лучше уж лично поговорим об этом. Я привезу исправленную (искаженную) мною оперу, и, если Вы согласны, — с помощью божьей начнем. О, как бы я хотел, чтобы Вы не отказались! (...) Ваш, Вас горячо любящий, но бездарный ученик.

Мих. Чехов»¹⁷

К сожалению, по разным обстоятельствам сотрудничество М. Добужинского с Национальной оперой не осуществилось.¹⁸

Одним из наиболее ярких сценографов в Латвии в то время был популярный мастер пышных постановок Лудолфс Либертс. Его стиль в известной степени являлся противоположностью художественному почерку М. В. Добужинского, но, бесспорно, оба они были одинаково крупными фигурами в театрально-декорационном искусстве. М. В. Добужинский как сценограф формировался под влиянием системы К. С. Станиславского, воплощая ее принципы на сцене Московского Художественного театра. Его работы привлекают психологической тонкостью и точностью. В каунасский период он чаще обращался к оформлению музыкальных спектаклей, демонстрируя музыкальность и строгую, отвечающую стилю архитектурность. Сила таланта Либерта, в свою очередь, заключалась в неукротимой декоративной фантазии и блестящих эффектах. В газете «Сегодня» рижские читатели регулярно получали информацию о новостях культурной жизни Литвы, в № 133 за 1931 год была опубликована статья В. Бичунаса «Л. Либертс и М. Добужинский» (Л. Либертс неоднократно приглашался в Каунас для оформления спектаклей). В газете «Яунакас Зиняс» о Добужинском писал другой литовский корреспондент, впоследствии государственный деятель Советской Литвы В. Палецкис («ЯЗ» № 295 за 1932 год). Благодаря этим сообщениям, любители и почитатели искусства Добужинского в Латвии имели возможность не только видеть его работы на выставках, но и следить за его деятельностью вне Латвии. В 1935 году сюда пришло известие из Лондона: «В Лондоне только что открылась выставка акварелей М. В. Добужинского. Небольшая, всего тридцать шесть номеров, которые развешаны в двух тоже небольших комнатах. Но в Англии, как и в Париже, те, кто любят картины, любят именно такие маленькие выставки. Они не рассеивают внимания, дают возможность ближе подойти к личности художника...»

... Когда здесь был литовский балет, декорации Добужинского радовали не только толпу, но и знатоков, и в газетах это было отмечено. Сейчас ему заказаны декорации к «Борису Годунову» одним из театров, который здесь считается очень передовым. Так как вообще лондонские театры во многих отношениях удивительно отстали от уровня немецкого, французского, в особенности, русского театра, то появление первоклассного живописца, который является в то же время первоклассным декоратором, может оказать большую услугу английскому театральному искусству. Сейчас актеры, режиссеры, директора и критики сами сознают, что надо окончательно освободиться от тесноты XIX века. Они ищут перемен, ищут даровитых людей, а для них М. В. Добужинский сотрудник драгоценный. Тем более, что его талант так разнообразен».¹⁹

В 1939 году М. В. Добужинский покидает Каунас, едет в Лондон, а затем переезжает на постоянное жительство в США. «Бориса Годунова» в Лондоне он реализует только в 1941 году. До самой своей смерти 20 ноября 1957 года он много работал в театрах Европы и Америки. В 1942 году художник подготовил сценическое оформление «Сорочинской ярмарки», а в 1949 году — «Любовь к трем апельсинам». Во время II мировой войны он работал над балетом С. Прокофьева «Русский солдат», посвященным теме героизма русского народа.

Работы М. В. Добужинского хранятся во многих музеях мира, в частных коллекциях и архивах как в нашей стране, так и за рубежом, в том числе и в Государственном Художественном музее Латвийской ССР. Тесная связь художника с культурной жизнью Латвии — несомненно, интересный и важный факт в исследовании русских и латышских культурных связей.

¹³ Я. Силиньш. Выставка М. Добужинского. «ИММ», № 2, 1930 г.

¹⁴ Г. Шкилтерс. Выставка работ М. Добужинского. «Латвис», № 2490, 1930 г.

¹⁵ Артурс Дзейверс (1881—1967) — историк, краевед, педагог.

¹⁶ Собственность автора.

¹⁷ А. Моров. Трагедия художника. М., 1971, стр. 104—205.

¹⁸ В 1987 году в фонды Художественного музея ЛССР поступили 15 эскизов декораций и костюмов к «Волшебной флейте» Моцарта, выполненные М. В. Добужинским.

¹⁹ А. Тыркова. Выставка М. Добужинского в Лондоне. «Сегодня», № 149, 1935 г.

АРТЕМ ТРОИЦКИЙ

Rock in the USSR

(Продолжение.
Начало см. в №№ 5—12, 1988 г.)

Смешно. И горько: казалось бы, офицюз должен трубить в танфары, радоваться тому, что подростки наконец-то получили в кумиры своих соотечественников, что впервые за пятнадцать лет советская поп-музыка и песни на русском стали популярны и престижны у молодых... Но у бюрократов своя извращенная логика и свои представления об интересах страны. Я помню бесподобное заседание одной комиссии. Программу сдавал «Крузиз», и группа подготовилась очень хорошо — на обсуждение были приглашены известные музыканты, журналисты, режиссеры, и даже несколько либеральных членов Союза композиторов. В течение двух часов все они дружно пели дифирамбы таланту, трудолюбию, виртуозности и актуальности прекрасного ансамбля «Крузиз»... Затем встал председатель комиссии, заместитель министра культуры Российской Федерации Колобков, бывший аккордеонист с манерами неврастеника, и сказал примерно следующее: «Мы очень благодарны столь авторитетным и уважаемым специалистам за внимание к работе ансамбля. Ваши теплые слова, мы надеемся, помогут молодой группе в дальнейшем. Пока же, мы считаем, этот коллектив не созрел для самостоятельной концертной работы». Таков «совет»... «Зачем он нас всех дурачил, если все было известно заранее?» — возмущался на обратном пути композитор-лауреат Тухманов, меланхолично крутя руль своей черной «Волги».

Напряжение росло не только в филармониях. Слово «рок» начали вычеркивать из статей, и приходилось прибегать к идиотской словесной эквилибристике, ища подходящую замену: «современная молодежная музыка», «электрическая гитарная песня», «популярная городская танцевальная». . . Вышеупомянутый опрос критиков не печатали в течение трех месяцев. Наконец, он был опубликован, но с некоторыми усовершенствованиями: из списков бесследно исчезли «группа № 2» — «Машина времени» и «вокалист № 1» — Александр Градский. Мотивировка редактора газеты: «Кое у кого из начальства они вызывают сомнения». . . Очень забавно, что при этом в списке остался «Аквариум»: «кое-кто из начальства» их просто не знал.

Но вскоре и эта лазейка закрылась. Весной 84-го пошла вторая волна атак на рок. Главным объектом ее на сей раз были уже не деморализованные профессиональные группы, а «самодеятельность». Наконец-то наробот «из подполья» всерьез обратили внимание! Однако совсем не так, как нам хотелось бы. Пока любительские ансамбли существовали на локальном уровне, у них были локальные проблемы. «Пленочный бум» не только прославил их, но и сделал гораздо более уязвимыми. Государственный культурный аппарат пришел в замешательство,

обнаружив под боком целый альтернативный «рекорд-бизнес». Немедленным позывом было «Запретить!». И все было бы сделано для этого — но проект оказался нереалистичным. Невозможно было запретить звукозапись, невозможно было пресечь перепись и тиражирование «альбомов». Тем более, их слушание дома и на вечеринках. Единственным беззащитным звеном этой цепи были дискотеки — по этим многострадальным заведениям и был нанесен удар. Самодеятельные рок-записи были окрещены емким и зловещим словом «магиздат» — по аналогии с диссидентским литературным «самиздатом». Непонятно, откуда появились и распространились со страшной скоростью загадочные «черные списки»: никто точно не знал их происхождение и того, насколько они «официальны» — но у чиновников, всегда чувствующим себя увереннее с бумагой в руках, они имели большой успех*. В списках, под шапкой «идейно-вредные», были перечислены практически все более или менее известные русскоязычные любительские рок-исполнители. Сегодня все это выглядит совершенно анекдотично: многие «враги» стали репертуарными профессионалами, выпустили пластинки, не сходят с телеэкранов. Но тогда это было грустно и несправедливо. «Идеологический» и прочий вред наносился не теми, кого запрещали, а теми, кто запрещал. Молодежь лишалась права выбора, музыканты — «легальной» перспективы, музыка — будущего.

В марте 1984-го «Комсомольская правда» опубликовала мою статью, где говорил о том, что рок-группы могут ставить вне закона — они только увидят еще более глубоко в «подполье» — а что надо с ними работать и «воспитывать» музыкантов. Это была очень резонансная, написанная с «государственных» позиций безобидно-либеральная вещица, где в качестве положительного примера приводился ленинградский и рижский рок-клубы... Но даже это вызвало острейшую реакцию культур-бюрократии — ведь в статье шла речь о ее безделье и некомпетентности, о том, что запретить легче, чем сделать что-то позитивное... Вскоре я обнаружил, что сам тоже «запрещен». Придя в одну, другую, третью редакции, я повсюду встречал кислые физиономии сотрудников и слышал сокрушенную фразу: «Ты знаешь, шеф

* Когда возмущенные диск-жокеи и музыканты приходили в органы культуры за разъяснениями по поводу «списков», им отвечали, что эти бумаги силы не имеют и представляют собой «личное мнение» неких сотрудников Минкультуры. Однако, это было известно только в Москве. Поскольку никакого официального опровержения «черных списков» не поступило, некоторые «деятели культуры» в провинции руководствуются ими до сих пор!

сказал, что с тобой сотрудничать не рекомендовано. Было какое-то постановление. Они там даже назвали твой псевдоним. Так что это серьезно».

Ситуация напоминала случай с Йозефом Л., описанный Францем Кафкой. Я ничего толком не мог узнать — ни кто меня «запретил», ни каким образом меня «запретили». (Я не знаю этого до сих пор). Можно было только примерно догадаться, за что меня «запретили»: знакомые и коллеги приносили интересные, иногда даже лестные слухи о каких-то совещаниях, циркулярах и инструктажах, где меня называли лидером панков, пособником подпольного движения, человеком, дезориентирующим советскую молодежь, и просто негодным журналистом, копирующим западный стиль. Я был бы счастлив услышать это все собственными ушами из оригинальных источников и задать несколько вопросов — но меня никто никуда не приглашал. Таков недостаток работы «свободного художника» — нет никого, кто бы о тебе позаботился.

Это было время очень глупых решений. Однако разрушительный эффект их был невелик: требования культур-бюрократов и их советчиков оказались настолько абсурдными, что не было никакой возможности контролировать их исполнение. Таким образом, профессиональные рок-группы разными способами, но всегда успешно обходили постановление о «восьмидесяти процентах». В дискотеках всюду крутились «нерекондованные» пленки — хотя иногда наведывались ревизии и случались скандалы. Я продолжал печататься в Москве под фамилиями своих друзей, а в Прибалтике, куда ветры из столицы не всегда доходят, как ни в чем не бывало выступал по телевидению. Гребенщиков, Майк и прочие «запрещенные» ленинградцы увлеченно записывали новые альбомы в студии Андрея Тропилло... В целом, это был активный и плодотворный период, что подтверждает известный тезис о том, что лучший рок часто рождается «под давлением».

Московская сцена до 1983-го была скучной и пустынной. Посредственные группы, да и тех немного. Большой несбывшейся надеждой остался Сергей Рыженко, скрипач и певец из «Последнего шанса». Он начал писать превосходные песни, которые коллеги по изысканному ансамблю считали слишком «грубыми», и собрал собственную «электрическую» группу «Футбол». Рыженко — резкий, артистичный вокалист и мастер «сюжетных» песен: он сочинил новую, довольно сексуальную версию истории о Красной Шапочке и Сером волке; трогательную песню о маленькой девочке, посланной в большой ресторан за водой; историю о том, как парень вышел в теплый день попить пива, но встретил столько друзей, что так и не вернулся домой,

и так далее. Будучи хорошим стилизатором, он, в отличие от других наших авторов «новой волны», редко писал о собственных переживаниях и предпочитал разные маски:

«Утром как всегда вставай
В полседьмого
Переполненный трамвай
Злое слово
Суета у проходной —
Весь день, как в сказке.
А потом спешишь к пивной —
Все, как всегда. . .»

Здесь он поет от имени рабочего — хотя сам никогда не жил такой жизнью. У меня это не вызвало особого доверия: все наши интеллигентные рокеры, даже большие пьяницы и драчуны, знали жизнь рабочего класса более чем поверхностно. Главным достоинством песен Рыженко была их живость и . . . народность. Это именно не «фолк-рок», а электрические народные песни. К сожалению, за год существования группа дала всего два или три концерта, после чего распалась, и Рыженко взялся играть на скрипке в «Машине времени». (Там его песни тоже не захотели играть, и он ушел спустя два года).

Первой настоящей группой нового поколения московского рока стал «Центр». Сначала я услышал их катушку, записанную весной 1982 года. Настоящий «гаражный» рок: свингующий электроорган с дешевым звуком, беспорядочная гитара и очень натуральные «грязные» голоса. Песни назывались «Мелодии летают в облаках», «Звезды всегда хороши, особенно ночью», «Танго любви», «Странные люди». . . Интересны были три обстоятельства. Во-первых, это было очень весело. Во-вторых, масса прекрасных, просто классических рок-риффов, которыми могли бы гордиться ранние «Stones» и «Kinks». В-третьих, удивительный лексикон и образность: это не были ни «улично-алкогольные» атрибуты ленинградского разлива, ни возвышенный символизм школы Макаревича с ее «свечами», «кораблями» и «замками». Что-то другое: смесь самой наивной сказочной романтики (остров Таити, принцессы и ведьмы) и самой конкретной бытовой прозы (аэробус, радиоактивность, теннисные туфли. . .) Скажем, описание космического путешествия с любимой девушкой заканчивается так:

«И секунды станут столетьем,
Во дворце из крох метеоров,
И когда ты вернешься на Землю,
То напишешь об этом очерк.—
Если будут еще газеты
И в войне не погибнут люди. . .»

Можно быть уверенным, что ни одна другая рок-группа никогда не использовала в текстах слово «очерк». При всей мечтательности, песни не были глупыми или избегающими реальности:

«Кто-то смотрит в окно:
Телевизора синь
Все давно решено
Без особых причин.
Забываясь в ночи,
Утром вскочишь с постели
В одинаковый ритм
Семидневной недели.
Там был и один из самых трогательных
гимнов року:

«Когда в океанах любви
Поселились акулы секса,
Русалок нежных плавники
Стали похожи на пистолеты.
Когда золотые рокмены
Разбивали гитары и усилители
Становилось ясней и ясней —
Их тамбурины били тревогу.
«SOS» слышит каждый, «SOS» — ты и я
Сказка носится по ветру —
Открыта новая земля».

Так восьмидесятые годы пришли в Москву. Вскоре я увидел «Центр» живьем — в уютном черном подвале, где играл спектакли лучший московский любительский театр — «Студия на Юго-Западе». Им было по двадцать лет, они были одеты в аккуратные костюмы, их лидера, бас-гитариста и автора песен, звали Василий Шумов — идеальная фамилия для рокера. Они были невозмутимы. Дружелюбны, но загадочны.

Летом я привез их на незабываемый фестиваль в Выборг: первое турне московской группы «новой волны» прошло триумфально. «Центр» играл мощно и сосредоточенно и не оставил шансов расслабленным ленинградцам. Спустя несколько месяцев, в ноябре 1983-го, я решил устроить им «генеральный показ»: престижный зал на 1200 мест, с трудом арендованная аппаратура «Dunacord» и множество важных гостей — пресса, ТВ, композиторы, рок-звезды. Мне хотелось доказать им всем, что есть жизнь и после «Машины времени», есть талантливая молодежь и реальная «новая волна». Я приехал во Дворец культуры за сорок минут до концерта и в комнате артистов застал роскошную картину. Множество пустых бутылок из-под водки и четыре неменяемых существа. Только пятый, молодой ритм-гитарист Андрей, сын известного авангардного композитора Альфреда Шнитке, выказывал признаки жизни — он предложил мне допить бутылку. Оказывается, сегодня был день рождения ударника. Нужно было или отменить выступление или надеяться на чудо. Я с трудом растолкал музыкантов и попросил их подготовиться к выходу на сцену. . . Концерт был уникальный: они пели мимо микрофонов, не попадали по клавишам и струнам — хотя, к счастью, никто не упал. Катастрофа, конечно: мало, кто понял, что они совершенно пьяны, но все удостоверились, что они очень плохи. . . Эта история показывает, почему «Центр», при своих редких достоинствах никогда не был особенно популярен: они всегда были искренне равнодушны к успеху.

Непредсказуемость «Центра» проявлялась не только в поведении, но и в музыке. Василий Шумов одержим самыми неожиданными идеями и влияниями: китчевый советский поп тридцатых и шестидесятых годов, проза Эдгара По и поэзия Артюра Рембо, русский декаданс начала века и панк-рок. . . Удивительно, что при этом — в отличие от «Аквариума» — не создавался впечатления эклектики. В 1984-ом группа вошла в фазу «концептуализма». Они записали два коллажных мини-альбома, состоящих, помимо нескольких «нормальных» песен, из крошечных музыкальных скетчей. Как, например, «Воспитание»:

«Мама сказала: Все твои подруги
устроили свою жизнь.
Мама сказала: Подумай, сколько
тебе лет.

Мама сказала: Чтобы в моем доме
не было этого проходимца.
Папа сказал: Смотри у меня!
Папа сказал: Оставьте меня. . .»
Или, «Вспышка» (под клавишную мелодию в духе музыки Возрождения):
(Мужской голос): «Иванова!»
(Голос девушки): «Я!»
(Мужской голос): «Вспышка справа!»
(Голос девушки): «Есть!»
«Вспышка слева!»
«Есть!»
«Вспышка справа!»
«Есть!»
«Вспышка-a-a!»

(Шум, треск, звук короткого замыкания, испуганный голос девушки — «Ой» . . . , мелодия продолжается).

Трудно сказать, что это означает, но похоже на занятия по гражданской обороне.

У «Центра» не нашлось немедленных последователей и горячих поклонников. Любительская сцена была пестрой, но скучной. Фаны тоже выглядели растерянными. Авторитет профессиональных рок-групп упал по сравнению с недавним ажиотажем. Никаких заметных новых течений не было. Одевались все, как попало. Самым шумным массовым среди тинэйджеров было движение футбольных болельщиков: скандирующие толпы в одинаковых красно-белых («Спартак») или синевелых («Динамо») шарфах и соответствующие граффити на стенах домов. Кажется, футбол был посредственным, но рок убождал не больше.

Сенсация, наконец-то, произошла — на одном концерте в декабре 1983-го. Это было большое диско-кафе в пристройке олимпийского велодрома. Выступали разные группы; «Центр» сыграл вяло и покинул сцену, не сняв аплодисментов; публика с нетерпением ждала момента, когда диск-жокей запустит Майкла Джексона или тему из «Flash dance». Вместо этого вышли четверо парней, одетых, как стилиги пятидесятых, и очень неплохо сыграли инструментальный номер из репертуара «Madness». Как я выяснил во время соло на саксофоне, это была новая группа под названием «Браво». Гитариста по имени Евгений Хавтан я сразу узнал — он раньше играл в «Редкой птице». Хрупкий, испуганный и кудрявый, в мешковатом костюме он был очень похож на молодого Чарли Чаплина. . . Когда закончилось инструментальное выступление, на сцену буквально вылетела девица в замшевой мини-юбке и кожаной куртке явно с чужого плеча. В первую секунду я ее пожалел: носатая Барбара Стрейзанд выглядела бы рядом с ней, как куклолка Барби. В следующую секунду гадкий утенок предстал абсолютно восхитительным созданием. Она пела самозабвенно и плясала так, будто ее год держали взаперти, ее глаза сияли счастьем. . . Публика встала на уши — и было отчего сходить с ума.

Конечно, и до «Браво» у нас бывало на сцене весело. Особенно, если музыканты напивались. Но в этот раз. . . Девушка воспринималась как откровение. Советский рок, по-видимому, самый «дефеминизированный» из всех. Женских групп, за исключением пары декоративных ВИА, у нас никогда не было. Девушек-музыкантов — буквально единицы: Я вспоминаю бас-гитаристку из «Интеграла» и двух эстонак: пианистку Анне Тюур из «Inspire» и вибратонистку Терье Тераасмаа («E=MC²»; «Kuller»). Далее солистки — Айва Браун («Siipoli»), Настя

Полева («Трек»), Лариса Домушу («Джонатан Ливингстон» — ленинградская группа второй лиги) — но они не играли в своих ансамблях главных ролей. Можно долго гадать о том, почему так. Думаю, что виноваты давние русские традиции. Во всяком случае, «Браво» эти традиции сломали: их девочка блистала, затмевая все вокруг, и ее удивительная личность — смесь примадонны и хулиганки — трансформировала непритязательные веселые твисты во что-то более глубокое и трогательное.

Девочку звали Жанна Агузарова. Амбициозная провинциалка приехала завоевывать Москву, но провалилась на экзаменах в театральный институт. Ей было негде жить и нечего делать, не уезжать из столицы не хотелось. Кто-то дал телефон Хавтана, она позвонила из автомата и сказала, что хочет петь. «Она пришла, спела какой-то импровизированный блюз, и мы все обалдели...» Тогда же она придумала престижную сказку — что ее зовут Ивана Андерс, а родители — дипломаты и работают за границей. Это было очень по-детски, но и свидетельствовало о прекрасных актерских способностях: ни у кого из музыкантов и даже близких друзей не возникало сомнений в том, что так и есть на самом деле.

«Браво» покорили Москву за одну ночь. Со всех сторон посыпались предложения от «любительских» менеджеров, и группа пошла играть по кафе, клубам и студенческим общежитиям. Увы, на дворе стоял трудный 1984 год, и турне продолжалось недолго. Один из «неофициальных» концертов был прерван появлением милиции. Возникло дело о нелегальных пятирублевых билетах, аппаратура группы была арестована, а дальнейшие концерты объявлены нежелательными. (К счастью, до этого «Браво» успели записать удачный мини-альбом).

В марте многие лидеры московской любительской сцены (Чернавский, «Альяс», «Альфа» и другие) снимались на ленинградском телевидении в главной дискотеке города «Невские звезды». Это был и теледебют «Браво». Жанна пела «Белый день». Она была в грязных белых балетных тапочках, и незнакомая публика слушала, как зачарованная:

«Верю я, ночь пройдет,
Сгинет мрак...
Верю я, день придет,
Весь в лучах...»

На обратном пути, когда мы уже подходили к вокзалу, она вдруг вцепилась в мой локоть и жалобно попросила: «Давай еще останемся в Ленинграде... Я так не хочу возвращаться в Москву...» Конечно, мы все-таки уехали — и через пару дней ее задержала милиция. Оказывается, безумная Жанна, боясь развенчать свою легенду, подделала удостоверение личности на имя «Иваны Андерс»... Дело закрыли, аппаратуру «Браво» вернули, а вот певицу — нет. Ее poslali в Сибирь... Нет, не в этом смысле — просто там жили и работали на лесокombинате ее ничего не подозревавшие родители. Большая надежда московского рока замолчала на полтора года*.

Тем временем в Москве заявил о себе новый рок-аттракцион, «Звуки Му». Некто Петр Мамонов (р. 1951 г.), лысеющий,

с щербатыми зубами и страшным шрамом на груди от удара напильником в область сердца, начал писать песни в 1982-ом. Я знал его уже лет десять, как остроумного пьяницу, дикого танцора и поэта-неудачника. Однажды он пришел ко мне домой с гитарой и запел. Это было потрясающе смешно, сильно и необычно. Маниакально-напряженные «полька-роки» на одном-двух аккордах, исполненные в крике, хрипе и мычании. Песни касались, в основном, личных переживаний Петра, навеянных тяжелыми отношениями с любимой девушкой.

Вскоре он организовал группу со своим еще более непутевым младшим братом Алексеем на ударных и длинным флегматичным клавишником по имени Павел. Я взялся было солировать на электрогитаре, но дело становилось слишком серьезным, репетиции — регулярными, и я ушел. «Добрый гением» «Звуков Му» оказался Александр Липницкий, наш общий друг юности, добрейший и увлекающийся «старый хиппи», пожертвовавший своей коллекцией старинной живописи ради инструментов и аппаратуры. Он «с нуля» начал играть на басу.

Первое выступление «Звуков Му» (февраль 1984-го) произошло в школе, где Мамонов и Липницкий учились двадцать лет назад, и откуда они были в свое время исключены за плохое поведение. В этот раз повзрослевшие хулиганы вели себя не лучше. Петр оказался крайне буйным эпилептическим шоуменом, по сравнению с которым Дэвид Берн выглядел довольно скучно (мнение не мое, а знакомых американцев...). По гротескности и накалу ненормальной энергии зрелище можно было сравнить с лучшими шоу Петра Волконского — при этом оно имело отчетливый русский колорит. Мамонов представлял самого себя, но в немногом гиперболизированном виде: смесь уличного шута, галантного подонка и беспамятно-горького пьяницы. Он становился в парадные позы и неожиданно падал, имитировал лунатизм и пускал пену изо рта, совершал недвусмысленные сексуальные движения и вдруг преображался в грустного и серьезного мужчину. Блестящий, безупречный актер! Публика единодушно сочла его шизофреником или невменяемым — но в действительности это был холодный расчет.

Аранжированная «в электричестве» музыка группы зазвучала довольно интересно: нервный рок-минимализм вклинивался в традиционные бытовые мелодии блюза и вальса. Тексты сам Петр определил, как «русские народные галлюцинации»: цепочки невнятных психоделических* образов, навязчивый бред сумеречного сознания:

«Я засыпаю, я ложусь спать
Подо мною скрипит и трясется кровать
И ночью надеюсь я только на то,
Что утром меня не разбудит никто...»
Другая песня:
«Проснулся я утром, часа в два
И сразу понял — ты ушла от меня.
Ну и что? Ну и что, что ты ушла?»

От меня?
Все равно, опять напьюсь — я.
Еще одна:

«Я совсем сошел с ума
И все от красного вина
Ночью я совсем не сплю,
Ночью я бухать люблю.
Ночью мне поет Кобзон,
Не пойму, где я, где он
Ночью все цвета страшны,
Одинаково черны...» И так далее.

В словах не было особого смысла и фантазии, но все вместе «работало» хорошо. Публика истерически хихикала, но было скорее не смешно, а страшно. Такого раньше не приходилось испытывать.

В июле «Звуки Му» попробовали дать концерт в день рождения Липницкого на небольшой открытой площадке в дачном поселке. Перед началом выступления подъехали машины милиции, и все пришлось перенести на «частную территорию» — дачу именинника. Позже я слышал, что в «инстанциях» это квалифицировалось, как успешная операция по пресечению опасной идеологической диверсии. Все самодеятельные рок-концерты в Москве прекратились почти на год.

Некоторым утешением были летние гастроли итальянцев «Matia Bazar» — первой западной группы «нюу уэйв», приглашенной Госконцертом. Компьютеры, пост-модернистская сценография, декантские костюмы, мистический вокал... А у нас единственным цветущим оазисом рока оставался Ленинград. В мае 1984-го прошел II Фестиваль, и здесь новый рок уже не оставил шансов ветеранам.

Виктор Цой представил «электрическое» «Кино», уже без исчезнувшего «неллауреата» Рыбина. Крепкий и жесткий постпанковый квартет исполнил, в числе прочих, «Безъядерную зону» — одну из немногих популярных по-настоящему и искренних антивоенных рок-песен.

«Как ни прочны стены наших квартир,
Но кто-то один не подставит за всех плечо.

Я вижу дом, я беру в руки мел.
Нет замка, но я владею ключом.

Я объявляю свой дом безъядерной зоной.

Я объявляю свой двор безъядерной зоной!

Я объявляю свой город безъядерной зоной!...»

Даже у этой песни нашлись гневные критики, заклеймившие ее как «мягкотелый пацифизм»...

Хорошую пару «Кино» составила новая группа «Телевизор». Как у типичных представителей ленинградского рока, тексты были интереснее, чем музыка, и, пожалуй, все было сыровато и недорепетировано. Они начали выступление, проломив огромный картонный телевизор на сцене, и это не было пустой претензией. «Телевизор» обнаружил настоящую страстность. Их лидер, клавишник и певец Михаил Борзыкин, несомненно находился под влиянием поэзии Гребенщикова — только он был моложе, драматичнее, злее. Я запомнил отличную песню о ленинградских фарцовщиках:

«Он знает, что где в моде
Изучена фирма
Ему не надо бога —
Он верит в свой карман.
Всегда собой доволен,
И недоволен всем
Была бы только воля —
Он ушел бы, насосем
Всегда немного желчен
И простенько умен.
Любимец лживых женщин,
Продажных, как и он...»

* В Сибири Жанна Агузарова участвовала в областном конкурсе молодых талантов и заняла там первое место. Об этом писала местная газета.

* Отличительная черта «русского» психоделика в том, что он базируется не на наркотическом, а сугубо алкогольном опыте.

Точный портрет — включая упоминание о голубой мечте наших спекулянтов и проституток (не только их, правда) — уехать на Запад. Борзыкин был полон не только сарказма, но и надежд:

«Пускай за моим фо-но я и снег
Черно-белые клавиши ждут весны.
Пускай не хватает красок в этом сне —
Я еще не забыл цветные сны . . .»

Было здорово и одновременно больно слушать эти песни и наблюдать восторг публики в рок-клубе: неужели это «идеологическая диверсия»? Музыка, «чуждая» нашей молодежи? И когда наступит весна?

Самое сильное впечатление фестиваля — «Джунгли». Настоящего инструментального рока у нас никогда не было — я не могу отнести к нему виртуозный и пустой джаз-рок, обожаемый коммерческими джазменами и студентами музыкальных училищ. «Джунгли» заполнили этот зияющий пробел — и как! С тех пор, как я услышал его в тот фестивальный день, Андрей Отряскин занимает первое место в моем списке лучших советских рок-гитаристов. Он использовал самодельную гитару с максимально выведенным флэнджером и извлекал самые невероятные звуки, играя ритм, соло и «шумовые» партии одновременно. Стилистически это был неистовый фри-фанк с неожиданными атональными поворотами и взрывным ритмом. Я помню, меня это так завело, что я заорал коллегам по жюри: «Это лучшая музыка в Ленинграде со времен Шостаковича!» Потом, за кулисами, Отряскин сказал, что работает дворником в консерватории. Впрочем, это было нормально. «Джунгли» показали рок-клубу, что такое настоящая бескомпромиссная музыка . . . К сожалению, они так и остались в одиночестве: модные английские пластинки воздействовали все-таки сильнее.

Кстати говоря, новым важнейшим фактором «западного влияния» стало видео. Вначале VCR были уделом элиты, но постепенно жуткие цены падали, видеотек становилось все больше, и бедные музыканты тоже получили к ним доступ — у более богатых приятелей или даже покупая аппаратуру вскладчину. Видео повсюду разбилось — временно, надо надеяться — все домашнее веселье. (Особенно катастрофически это ощущалось в Грузии). Вместо застолья и танцев все гости усаживались к монитору и молча начинали смотреть. Как фактор престижа, видео отодвинуло на второй план «фирменные» пластинки — из-за этого их стали привозить еще меньше — хотя цены на рынке остались на прежнем уровне. Разумеется, все эти мелкие неприятности возмещались самим фактором наличия видео-информации. Мы смогли увидеть «в движении» то, что до сих пор только слушали и про что читали: Вудсток и Альтамонт, Брюса Спрингстина и «Talking Heads» . . . Видео здорово раздвинуло сознание музыкантов и, естественно, вдохновило их на новые трюки.

Первой советской рок-звездой видеостилем стал Костя Кинчев. Он жил в Москве, писал песни, но подходящих партнеров нашел только в Ленинграде — в лице средней рок-клубовской группы «Алиса». Во главе с новым солистом «Алиса» наделала шуму в рок-клубе еще осенью и произвела, как и ожидалось, сенсацию на III городском фестивале

в начале 85-го. Костя, пластичный парень с выразительной мимикой, большим ртом и глазами навывкате выглядел на сцене почти как Нина Хаген. Он пугал и заклинал публику, простирая к ней руки в черных перчатках, стонал, шептал и иронизировал в стиле рэп. Но, прежде всего, он был призывно сексуален. Запретный плод, воспетый в словах мешковатым Майком, здесь предстал в натуре. Как это ни странно, тексты «Алисы» не имели к сексу никакого отношения. Напротив, это была социальная сатира пополам с патетическим молодежным мессианством. Alter ego Кинчева был герой песни «Экспериментатор»:

«Экспериментатор движения вверх-вниз
Видит простор, там где всем видна стена
Он знает ответ, он уверен в идее
Он в каждом процессе достигает дна».

Костя Кинчев не побоялся взвалить на себя роль «рупора поколения» и открывателя новых горизонтов. Он начисто отбросил двусмысленность и скрытую иронию, столь характерные для нашего рока, и взял на вооружение самые громкие слова и страстные призывы — все то, что наша недоверчивая публика привыкла издевательски называть словом «пафос». Плакатность его песен часто бывала сродни официальным комсомольским гимнам — но музыкальный и визуальный контекст, естественно, переводил их в иное измерение. И ребят это удивительно воодушевляло — оказывается, рок-народ устал от собственной социальной ущербности и нуждался в лозунгах и лидерах. Песни назывались «Энергия», «Мое поколение», «Идет волна», «Мы вместе» . . .

«Импульс начала, мяч в игре

Поиск контакта, поиск рук.

Я начал петь на своем языке

Уверен — это не вдруг.

И я пишу стихи для тех, кто не ждет
Ответ на вопросы дня.

Я пою для тех, кто идет своим путем

Я рад, если кто-то понял меня —

Мы вместе, мы вместе!»

Слова звучали актуально. Холод доходил и до Ленинграда. «Аквариум», «Кино» и особенно «Зоопарк» часто ругали в прессе. III фестиваль проходил в довольно нервной обстановке; присутствовали наблюдатели от Министерства культуры. Делать фотографии и записи разрешалось только избранным членам рок-клуба.

«Аквариум» выступил на фестивале вместе со знаменитым авангардным саксофонистом Владимиром Чекасиным, был принят довольно холодно и после этого группа навсегда оставила «эксперименты». «Странные игры» блеснули напоследок остроумной интерпретацией популярной антифашистской песни военных лет «Барон фон дер Пшик» и вскоре после фестиваля распались. «Джунгли» сыграли более интровертную полуакустическую программу, но все равно были хороши.

Отличное представление дал биг-бэнд «Популярная механика». Дирижер и композитор оркестра, фри-джазовый пианист Сергей Курехин, собрал на сцене человек тридцать. Среди них были «Странные игры» в полном составе, Борис Гребенщиков, Виктор Цой и все дежурные представители ленинградской художественной богемы. Вся компания была разделена на секции — джазовую (медь), роковую (электрогитары), фольклорную (какие-то длинные кавказские трубы), классическую (струнный квартет) и «индустри-

альную» (листы железа, пилы и т. п.) Полукасовая композиция (она называлась «Чем Капитана * ни корми, он все равно в лес смотрит») казалась шумной и несколько бесхребетной — но было очень весело. К сожалению, «Поп. механика» не репетировала постоянно и собиралась — в разных составах — лишь по несколько раз в год, непосредственно перед концертами.

Лучшую, на мой взгляд, песню фестиваля представил «Телевизор». Она называлась «С вами говорит телевизор»:

«Двести двадцать холодных вольт.

Система надежна, она не откажет.

И вечер не даст ничего —

Программа все та же.

А люди едят, им хорошо:

Это век электрических наслаждений.

Кому-то здесь нужен электрошок —

И я почувствую пробужденье.

Оставьте меня, я живой!

Я хочу думать своей головой.

Я хочу называть героев,

Я не хочу говорить о крови!»

. . . Это было противоречивое время. Внешнее давление на рок породило волну протеста. Концертов было мало, но пленки слушали востро. Успех, помимо прочего, имели записи из далекой провинции: хард-роковый «Облачный край» (Архангельск) и «ДДТ» (Уфа)**, которые пели горькие и сердитые песни о провинциальной тоске и «централизованном лицемерии». И в Москве рок не умер, а только ушел глубоко в подполье: группы записывали свои «низкокачественные» альбомы. Например, желчные «ДК»: «Ты понял, что жизнь — дерьмо! Смейся и веселись».

На каждом шагу — вино.

Не мучай себя — нажрись . . .»

Фактически, это и был главный результат «политики запрета» — не было выхода и даже не было, куда пойти. Но так не могло продолжаться: молодежь не могла жить в цинизме и неверии, а энергия и талант рокеров требовали реализации.

В сентябре 1984-го я приехал, по приглашению местного телевидения в Северную Вологодскую область. Это край забываемой красоты, с мощными лесами, тихими реками и древними монастырями. Это «глубинка» России. И там, в городе Череповец, я встретил парня двадцати четырех лет по имени Александр Башлачев. Он работал корреспондентом маленькой районной газеты, слушал пленки «Аквариума» и «ДДТ» и когда-то пописывал тексты для единственной местной группы «Рок-сентябрь». Он сказал, что с недавнего времени начал сочинять песни сам и предложил их спеть. Я слушал, и глаза мои расширились: это был фантастический поэт, сконцентрировавший в себе целую вселенную любви и боли. Пожалуй, он не был рокером — скорее, продолжателем Владимира Высоцкого. Но у него была одна песня, посвященная русскому року, «Время колокольчиков». Там есть слова:

« . . . Что ж теперь

Ходим круг до около,

На своем поле,

Как подпольщики? . . .»

Что же теперь?

* Капитан — кличка Курехина.

** Юрий Шевчук, замечательный певец и лидер «ДДТ» из-за трения с местным руководством вскоре переехал в Ленинград.

(Продолжение следует)

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ЛАТЫШОМ?

Латвийский кинорежиссер Юрис Подниекс задал нам вопрос «Легко ли быть молодым?». Однако проблемы, поднятые фильмом, отображенное в нем социальное отчаяние, имеют, помимо общечеловеческих и общесоюзных, еще и конкретно-национальные основания. О них и об особенностях латышского мировосприятия вообще беседует латышский поэт Кнутс Скуениекс и рижский литературовед Алексей Григорьев.

А. Г.: *Что значит быть латышом сейчас, сегодня?*

К. С.: То же, что значило вчера и будет значить завтра. Потому что национальная принадлежность, национальное самосознание, национальное культурное наследие, на мой взгляд, вещи достаточно стабильные. В известной степени они исторически обусловлены, но не настолько, чтобы успевать за всеми поворотами истории. Я бы даже сказал, что национальное самосознание как бы противопоставляет себя истории, бросает ей вызов.

А. Г.: *Задавая свой вопрос, я имел в виду, что национальная принадлежность включает в себя понятие долга, ответственности. Признав себя латышом, русским, татарин, человек принимает на себя ответственность перед прошлым и последующими поколениями своего народа. А также ответственность за свой народ перед другими народами. Поэтому уточню вопрос: что латыши как нация стремятся сохранить вопреки истории, за какое наследие чувствуют себя ответственными?*

Иными словами, в чем их миссия по отношению к себе и к другим?

К. С.: Во-первых, каждый народ живет сам по себе и для себя. В этом смысле можно говорить о нации, как о подобии биологического организма, на который распространяются основные законы природы. И, если уж говорить о миссии, основная задача нации — выстоять. Но не любой ценой, а обеспечив себе полноценное существование — и физически, и духовно. Если нация существует в таких условиях, она излучает и значительные общечеловеческие ценности. В чисто человеческом смысле между нацией и человечеством нет противоречия.

А. Г.: *Для латышей самосохранение действительно всегда было особенно трудной задачей. Стоит только вспомнить две мировые войны, каждая из которых ставила вопрос о физическом существовании латышской нации.*

К. С.: Да, у латышей в этом смысле уникальный опыт. Латышская народность формировалась в исключительно неблагоприятных условиях, когда живущие на территории Латвии племена подверглись нашествию Тевтонского ордена. В это время Латвию населял исключительно пестрый конгломерат из нескольких племен, находящихся на различных ступенях развития, с различными мифологическими и религиозными представлениями. Они говорили на разных языках, один из которых — ливский — даже принадлежал к иной языковой семье. Естественно, завоеватели широко использовали принцип «разделяй и властвуй». Тем не менее люди, населявшие основные части Латвии, не столько сознательно, сколько инстинктивно, искали и находили общий язык. Исполняя даины, сказитель в своем родном наречии старался выбрать наиболее общепонятные слова, и носителям различных диалектов иногда бывало легче понять друг друга в песне, чем в устной речи. Так, на уровне народной песни веками шел процесс консолидации нации, несмотря на то, что все исторические условия, казалось бы, этому препятствовали.

А. Г.: *Таким образом, культура действовала как объединяющая сила и, собственно, в качестве таковой и возникла. Очевидно, это наложило отпечаток и на содержательные свойства культуры. Можно ли выделить такие, наиболее характерные для латышской культуры, латышского менталитета вообще, свойства?*

К. С.: Дело рискованное, но попытаться можно. В основе латышской культуры — стабильность, устойчивость, гармония. Этот принцип восходит еще к доисторическим временам. Устойчивость обеспечивается равновесием между темным и светлым, между добром и злом. Такое единство делает представления о мире более стабильными и одновременно менее категоричными.

Для меня идеалом такой некатегоричности в нашей литературе является Рудольф Блауманис. По Блауманису, у каждого человека правда. Истина где-то наверху, далеко, разглядеть ее трудно, а здесь, на земле, она дробится на множество частей, у каждого своя частичка и от конфликтов никуда не деться. Фактически этот принцип точно и философски емко был сформулирован уже в даине: «одна у меня душа, а жизнь — двоякая».

А. Г.: *Наверное, в этой некатегоричности мировосприятия и кроется причина открытости контактам, восприимчивости к тому, что на первый взгляд может показаться чужим и чуждым. Раз каждый человек имеет право на свою правду, то и каждому народу, очевидно, тоже может принадлежать частичка общей правды.*

К. С.: Такая открытость действительно существует. Здесь сказывается географическое положение Латвии на очень важном мировом перекрестке, который при всех разделах и переделах мира оказывался кому-то очень нужным, и само возникновение нации из этнически и лингвистически разнородных племен. И все-таки для латышей не менее важна позиция самостоятельности, опоры на собственные силы. Она имеет исторические, а, может быть, даже доисторические корни. По данным археологов, балты принесли на свою теперешнюю территорию уже сложившуюся земледельческую цивилизацию. Волею неизвестных исторических обстоятельств они пришли на землю, чрезвычайно неблагоприятную для земледелия. Леса, песок, болота... Выжить было легче, расселившись крупными семьями. Каждая семья корчевала и возделывала свой участок земли в лесу, не слишком общаясь с соседями. Как известно из истории, самые кровавые отношения чаще всего бывают между соседями, и хорошие отношения сохранить легче, если соседи живут далеко друг от друга и встречаются редко.

А. Г.: Это напоминает англичан, у которых даже есть пословица: «Хорошие заборы — основа добрососедства».

К. С.: Латышам это тоже понятно, как, впрочем, и другая английская пословица: «Мой дом — моя крепость». В основе нашей культуры — полноценный совершенный индивид, индивидуальное сознание, индивидуальная ответственность. Это индивидуальное сознание необыкновенно развито в фольклоре, в дайнах, и его не смогли заглушить века приниженого положения, крепостной зависимости. У юридически бесправного, подвергающегося жестокой эксплуатации народа сохраняется личное чувство собственного достоинства, самоуважение, преданность высоким этическим принципам. Очень хорошо эта позиция самостоятельности выражена в дайне

Дай, Господи, в гору идти —

Не с горы в низину.

Дай, Господи, другим помогать —

Не о помощи просить.

А. Г.: Можно ли говорить о том, что эти черты: открытость внешнему и одновременно личная обособленность, опора на собственные силы — как-то внутренне взаимосвязаны? Или же они представляют собою два разных течения в национальном мироощущении, и народ, в зависимости от ситуации, обращается то к одному, то к другому?

К. С.: Противоречие между этими чертами только внешнее. Одновременно с самоуважением воспитывается и уважение к ближнему, стремление считать с его особенностями. В дайне об этом говорится

Если у соседа низкие потолки

Не поднимай высоко лучины.

А уважение к человеческой личности как таковой предполагает и уважение к человеку другой национальности. Но и контактность латыша особая. Чаще всего он общается с соседями в торжественные моменты: праздники, различные торжества. Очевидно, сказываются древние крестьянские обычаи.

А. Г.: А в таких случаях большое значение придается вопросам формы: ритуалу, в наше время — этикету. . .

К. С.: Латыш, будучи в этом смысле принципиально европейцем, по-прежнему высоко ценит свою частную жизнь и не любит ее показывать другим. Он не позволяет себе слышать и подробности чужой частной жизни. Он может излить душу только очень близкому человеку, и то с гарантией полной конфиденциальности. И, если к нему подходит коллега с другими привычками и другим воспитанием, а часто, к сожалению, и с отсутствием воспитания — возникают значительные трудности. Людям с другим темпераментом и экспансивностью кажется, что это серая и неэмоциональная жизнь. Между прочим, этот упрек нам адресуют и люди интересующиеся — переводчики — латышской культурой, многие переводчики. Они говорят: «Это малоэмоционально», — и считают своим долгом переводы эмоционально усилить. Это значит, что людям, которые вроде бы пропагандируют нашу культуру, самое главное в ней чуждо. Они не умеют разглядеть, не чувствуют нашу эмоциональность, а эмоциональность присуща всем нациям, будь то Крайний Север или Экваториальная Африка.

А. Г.: Отличается только культура чувств, особенности их проявления.

К. С.: Здесь требуется понимание, и нет никакой необходимости подгонять что-либо под свои представления или усиливать «от себя». Если а priori сообщить читателю,

что это малоэмоционально, читатель лишается возможности познакомиться с иным эмоциональным типом и таким образом обогатить свой культурный и эмоциональный опыт. Вообще-то этот тип не так уж чужд и русскому народу в отдельных регионах. У русских поморов, например, сходный склад характера.

А. Г.: Именно поэтому так важно и необходимо то, что мы сейчас пытаемся делать и что, вероятно, должны были бы делать этнопсихологи, — выделить психологическую модель народа и объяснить ее другим. То, что для соотечественников представляется само собой разумеющимся, людям, принадлежащим к иной культуре, часто оказывается непонятным, и тут не обойтись без объяснений. Что чаще всего бывает непонятным, хотя бы таким близким соседям латышей, как русским?

К. С.: Одна из очень характерных исторически сложившихся черт латышской психологической модели — сдержанность в проявлении чувств.

А. Г.: Можно было бы выразиться и так: непосредственность проявления. . .

К. С.: Латыш не любит и внутренне даже чувствует недостойным себя, неприличным высказываться прямо, «в лоб». Правда, позже, при продолжительном знакомстве с русской культурой, и в латышской культуре возникло течение, позитивным достоянием которого было то, что русские называют задушевностью и духовностью. Но у латышей такие качества проявляются в более жестких рамках, такой раскрепощенности, как у русских, все-таки не появляется. То, что русские называют «душа поет», — у латыша душа так не поет, он сочтет недостойным себя позволить ей так петь, посчитать это недостатком воспитания, расхлябанностью, отсутствием внутренней дисциплины. Возможно, таким образом проявляется внутренняя мобилизованность маленькой нации.

А. Г.: Раз уж мы начали говорить о влияниях, которые можно проследить в латышской культуре, может быть, стоит продолжить этот разговор. В чем именно в латышской литературе проявилось влияние русского эмоционального типа?

К. С.: Как я уже говорил, духовная обнаженность и примат идеи, характерные для русской культуры, не прошли бесследно и для нас. Русская школа дала нашей поэзии такую выдающуюся личность, как Оярс Вацетис. Для него характерно нечто прежде для латышской культуры очень необычное — превращение своей жизни в поэтическую и человеческую мистерию. Он во многом опередил свое время, за что ему пришлось пострадать и в человеческом, и в чисто литературном смысле. Не только из-за непонимания, но и из-за откровенных преследований. И он был внутренне готов к этому, и даже как бы стремился к самопожертвованию. Такой мессианизм, примат идеи, душевная открытость — черты новые для латышской поэзии. Говоря о русской школе, можно назвать и других авторов, например, Иманта Аузиньша. Он, правда, воспринял другую традицию. . .

А. Г.: Скорее некрасовскую. . .

К. С.: Одну черту, постоянно присутствующую в русской поэзии, но не очень характерную для нас. Я имею в виду обыденность в качестве источника вдохновения, воспринимаемую принципиально как вызов аристократизму культуры. Это некрасовская традиция, сейчас в большой мере связана с опытом таких поэтов, как Евг. Винокуров и другие. И все-таки надо сказать, не в порядке критики или упрека,

а для лучшего понимания, что многое в русской культуре латышу представляется как бы незаконченным, неупорядоченным. При всем уважении к этической и человеческой глубине Достоевского мы не можем не замечать, что все это написано наспех, довольно однообразным языком. Бросаются в глаза и другие случаи, когда художественные ценности приносятся в жертву ради идеи.

А. Г.: Интересно, что я это замечаю по собственному опыту. Нервная оголенность Достоевского вызвала у меня по первому прочтению недоверие, и требовалось усилие для его преодоления. Но если бы я этого усилия не сделал, в проигрыше бы оказался я, а не Достоевский.

Я понимаю, какими опасностями чреваты рассуждения о влияниях вообще, но, на мой взгляд, и такой уровень разговора имеет право на существование. Будем считать, что с основными направлениями русского влияния на латышскую культуру мы разобрались. Но русское влияние было не единственным и даже не самым важным. К. С.: Может показаться, что нам следует вздыхать и жаловаться на судьбу, что у нас не было такого героического и внушительного прошлого, как, скажем, у Литвы. Но, возможно, именно это приниженное угнетенное состояние народа способствовало воспитанию у него одной характерной черты — не пренебрегать никакой школой, никакой возможностью расширить свой опыт. Отношения латышей с немцами, как мы видим хотя бы из фольклора, были весьма недружественными, немец был синонимом черта, воплощением всяческого зла.

А. Г.: Мне особенно запомнился один эпизод, приведенный Гарлибом Меркелем, когда латышская крестьянка в сердцах обзывает немкой корову, которая ее боднула.

К. С.: И в то же время в латышской литературе и вообще в культуре, в изобразительных искусствах, например, один из главных творческих импульсов связан с немецкой школой. Латышская письменная литература в 18-м, начале 19-го века создавалась в основном не латышами. Ее создателями были немецкие пасторы, однако они создали не только религиозную, но и светскую литературу. Теперь мы больше не смотрим на их деятельность так узко неодобрительно, как это, к сожалению, было совсем недавно и как это до сих пор слышим в школе.

А. Г.: Концепция, согласно которой немецкая культура в Латвии — проявление господства пов-рыцарей, видимо, особенно много вреда принесла в области архитектуры. На ее недобром счету многие выдающиеся памятники старины, в том числе такой шедевр архитектуры барокко, как Дом черныхоловых на Ратушной площади в Риге.

К. С.: И в области литературы эта концепция тоже является несправедливой и неверной. Деятельность немецких просветителей принесла латышскому народу подлинные и поныне не потерявшие своего значения ценности. Из классической немецкой литературы заимствован культ точности, формальной дисциплины и сочетание четкости формы с ясностью мысли. Вторая линия немецкого влияния — это лиризм, эмоциональность, можно даже сказать, сентиментальность.

Правда, в отличие от немецкой открытой сентиментальности, у латышей она проявляется несколько более сдержанно, поставлена в определенные рамки, упорядочена.

А. Г.: Но ведь лиризм и афористичность характерны уже для дайн.

К. С.: Немецкое влияние потому и прижилось столь основательно, что попало на готовую почву. Любовь к порядку, чувство соразмерности, стремление к гармонии — свойства латышского психологического склада с доисторических времен.

А. Г.: Итак, немецкая школа, русская... К. С.: Надо отметить тот факт, что роль национального манифеста в латышской письменной литературе сыграла книга, интернациональная по своему содержанию. По традиции начало латышской профессиональной литературы мы связываем с деятельностью Юриса Алуанса — языковеда, поэта, переводчика и идеолога национального Пробуждения. В 1856 году появилась его маленькая книжка «Песенки». Девяносто процентов ее составляли переводы — Гете, Шиллер, Рикерт, Гораций, Вергилий, Пушкин, Лермонтов, Кольцов... Алуанс хотел доказать, и ему это удалось, что латышский язык равноценен языку любого другого культурного народа и что на этом языке, даже в его тогдашнем состоянии, можно выразить все оттенки человеческих чувств, этические и философские проблемы. Латышам, которые к этому времени сформировались в нацию с собственным национальным самосознанием, пришлось за пару десятилетий проделать путь, который другие нации проходили за несколько столетий.

А. Г.: Вообще-то достаточно типично, что вновь возникшая нация с пробуждением национального самосознания стремится как можно скорее освоить достижения мировой культуры. В литературоведении даже возникло соответствующее понятие — ускоренное литературное развитие.

К. С.: И все-таки то, что профессиональная литература не опиралась на национальный фольклор, было несколько нехарактерно. Тем более, что латышский фольклор необычайно богат. Он появился в качестве основы латышской профессиональной культуры, но несколько позже.

А. Г.: Дайны — латышские лирические четверостишия — охватывают все стороны жизни народа, вобрали в себя весь его тысячелетний опыт. Собранные и изданные Кришьянисом Баронсом, они составляют как бы лирический эпос латышского народа. На мой взгляд, особенно необычно это сочетание лиричности каждой отдельной дайны и широкой эпичности, панорамности всего собрания в целом.

К. С.: Надо особенно отметить, что роль фольклорной основы латышской культуры уникальна в мировом масштабе. Речь идет об уникальной фольклорной цивилизации, подобной которой нет во всей Европе и, насколько мне известно, большей части Азии. Самое необычное заключается в том, что эта фольклорная цивилизация, хотя уже в литературно и эстетически опосредованном виде, жива по-прежнему и включена в культурный обиход нашего общества. Ничего подобного нет нигде поблизости. Обычно фольклор представляет собой что-то вроде этнографического орнамента на национальной культуре. У нас же, как это видно из тех нескольких примеров, которые я привел, это весьма стабильная и жизнеспособная, совершенная в выражении основа национальной культуры.

А. Г.: Действительно, каждый латыш может при случае на память прочесть по крайней мере несколько десятков дайн, а многие — и гораздо больше.

К. С.: Вся беда в том, что мы сами в недостаточной степени сознаем значение собственных культурных ценностей и недостаточно активно и профессионально их про-

паганируем. В длительное время существовавших, мягко говоря, неблагоприятных для культурной пропаганды условиях мы ее зачастую осуществляли провинциальными методами.

А. Г.: Очевидно, в течение длительного времени в неблагоприятных условиях сохранение и фиксации культурных ценностей становились основной целью нации.

К. С.: Теперь мы понимаем, что самосохранение не может быть самоцелью. Даже такой маленькой нации, как наша, в особенности если она является наследницей таких богатств, следует жить более динамично, экспансивно, с большей активностью вовне. Именно в этом заключается наша поистине интернациональная миссия. И это не проявление какой-либо особой любви между народами, а просто вопрос полноценных межнациональных отношений, культурных связей. Такой взаимобмен должен лежать в основе цивилизованных отношений между людьми и народами. При этом выигрывают все.

А. Г.: Таким образом культуры больших народов также могут заимствовать у малых народов какие-то необходимые им в том или ином случае черты.

К. С.: Да, иногда влияние малых народов очень неожиданно и плодотворно проявляются в культурах больших народов. Таков скандинавский опыт в литературе, бельгийский в живописи.

А. Г.: Если говорить о литературе, то встает очень непростой вопрос языка...

К. С.: Да, трагичность положения малых народов заключается и в существовании языкового барьера. Например, на латышском языке говорит немногим более миллиона человек, а если считать рассеянных по всему свету и еще не утративших родной язык латышей — то около полутора миллионов. К тому же этот язык не вошел, к сожалению, в традиционный культурный обиход, хотя и заслужил того во многих смыслах. Там, где существует традиция изучения латышского языка, латышская литература переводится довольно широко и пользуется значительной популярностью. К примеру можно назвать Чехию, где эта традиция установилась еще в довоенные годы благодаря дружбе двух выдающихся лингвистов — Яниса Эндзелинса и Йозефа Зубатого.

А. Г.: Латышский язык необходим не только для изучения или чтения современной латышской литературы, хотя и в ней существуют значительные достижения. Он необходим языковедам, и многие крупные языковеды это понимают, достаточно назвать таких выдающихся ученых, как В. В. Иванов и В. И. Топоров.

К. С.: Латышский язык необходим для многих изысканий в области индоевропейских древностей, в особенности в области фольклористики, языкознания, для изучения мифологии, этнографии, истории. Латышский язык необходим славистам. Традиционно с легкой руки Шлейхера весь приоритет отдан литовскому языку, и его международный престиж весьма высок. Литовский язык действительно более архаичен, но только оба балтийских языка в совокупности дают целостное представление об индоевропейской архаике в ее различных аспектах. Мне кажется, что приоритет латышского языка возрастет, но здесь помимо нашего труда потребуются и доброжелательная помощь со стороны. В уникальном опыте латышского народа много загадок и много отгадок к загадкам других народов, но в переводе все это теряется. Поэтому перед нами стоит двойная

задача: с одной стороны, мы должны развивать латышскую культуру, творить ее и совершенствовать, с другой — ее пропагандировать.

А. Г.: Таким образом, мы все-таки подошли к тому, с чего я пытался начать, — к сегодняшней ситуации, сегодняшним трудностям и сегодняшним задачам латышей как нации.

К. С.: Надо сказать, что сегодняшняя ситуация весьма неблагоприятна. И дело не только в вызванной современными демографическими процессами денационализации, но и в том, что происходит размывание, можно даже сказать слом традиционных этических ценностей. Молодое поколение теряет традиционную латышскую аккуратность, принципиальность, трудолюбие, так как оно живет, я бы не сказал, среди представителей других национальностей, а среди денационализованной массы мигрантов, которые сами растеряли свои национальные корни и традиционные ценности своих народов.

А. Г.: Утрата связи со своей национальной культурой происходит незаметно, но может иметь катастрофические последствия, как в масштабах всего общества. Ведь такие понятия, как добро и зло, совесть, позор, неразрывно связаны с традиционными национальными ценностями, и распад одних связей неизбежно ведет к крушению всей системы этических представлений. Возникает гамлетическая ситуация расшатанного мира, мира разорванных связей, в котором все дозволено и ничего не стыдно. И связь с иной национальной культурой также возникает не легко и не сама по себе. Она требует упорного и продолжительного труда. К. С.: За границей, там, где эти вопросы решаются сами по себе, в крупных городах стихийно возникают традиционные эмигрантские кварталы, как, например, знаменитые «чайна-таун». Далеко не всегда это гетто. Люди одной национальности инстинктивно держатся друг друга, чтобы, насколько это возможно, уменьшить психологический дискомфорт, который они испытывают в чужой среде. И это придает им уверенность и позволяет легче контактировать вне собственной среды.

А. Г.: К сожалению, у нас эти вопросы совершенно не принимаются во внимание.

К. С.: Самое сильное воздействие на сознание оказывают именно такие национальные стереотипы, которые существуют в человеке на инстинктивном, досознательном уровне, хотя и являются частью культуры, воспитаны ею. Например, в Риге в новых жилых массивах у подъездов устанавливаются лавочки. То, что латышу, возвращаясь домой, приходится проходить сквозь строй пенсионеров, которые его разглядывают, обсуждают и оценивают, вызывает глубокий внутренний протест и психологический дискомфорт.

А. Г.: Это скорее ближе к русскому понятию жизни «на миру».

К. С.: У латышей, как я уже говорил, другие традиции общения с соседями. Я, например, живу в Саласпилсе под Ригой в индивидуальном доме, и по соседству у меня такие же дома. Мы каждый день видимся с соседями, здороваемся, обмениваемся парой любезностей, но необходимость заходить к соседям возникает раз или два в году. При этом, если кому-либо из соседей присуще обыкновенное человеческое любопытство, эти люди все равно ухитряются знать о соседях все. Но никогда без особой необходимости не показывают этого. И дело не в том, как лучше и как хуже, а в том, что сталкиваются различные традиции,

психологические установки и возникают ненужные конфликты. А также в том, что те, кому об этом следовало подумать, об этом не думали.

А. Г.: *И трудно даже сказать, кто (или что) в этом больше всего виноват — ведомственное пренебрежение ко всему на свете, кроме своих узких и чаще всего абсурдных или даже вредных в государственных масштабах интересов, или не менее вредное и абсурдное стремление создать советскую культуру и советский народ как безнациональный народ и денационализированную культуру. Причем любую защиту не только национальных интересов, но и просто здравого смысла ведомства объявляют национализмом. Так было, когда латвийская общественность возмущалась планами строительства бессмысленной и расточительной Даугавпилской ГЭС. Ведомства исподтишка затеяли проектировку и строительство АЭС под Лиенай, всячески скрывая об общественности свои планы и явно намереваясь поставить республику перед свершившимся фактом. Националистическими объявляются протесты против планов строительства метро в Риге, которое, если мнение общности все же не будет принято во внимание, будет иметь разрушительные последствия для Риги и республики. Руководство Слокского целлюлозного комбината, который отравляет воздух и воду в городе-курорте Юрмале, также пытается представить свою позицию защитой государственных интересов от нападков националистов.*

К. С.: *Нужно обратить внимание на одну вещь. Инстинктивно мы это все время чувствуем, но не задумываемся об этом или задумываемся недостаточно, хотя это нас постоянно очень угнетает. В нашей стране нет уважения к человеческой личности. «Все для человека, все для блага человека» — по-прежнему пустой лозунг, и человек рассматривается только через массу.*

А. Г.: *И вообще как предмет воздействия, который надо учить, воспитывать, направлять и т. д.*

К. С.: *Человеком манипулируют, человек как ценность практически игнорируется. Отсюда становится понятным, почему у нас ненормальный сервис, пренебрежительное отношение к нуждам людей. Поэтому человек постоянно ощущает унижительный комплекс неполноценности, с которым очень трудно бороться и от которого почти невозможно избавиться.*

А. Г.: *Я бы даже сказал, что воспитывается комплекс иждивенчества и долгов. Государство нам якобы все дает, а мы за это перед государством в неоплатном долгу. При этом забывается, что у государства нет ничего, что бы не было создано нами, нашим трудом. И наоборот, у государства ничего не будет, если народ будет постоянно ожидать, что государство о нем позаботится.*

К. С.: *По-моему, в концепции изначальной виновности человека, его порочности и преступности как в кривом зеркале отразилась засевавшая в памяти недоучившегося горьковского семинариста концепция первородного греха. Примечательно, насколько его идеи отрицания самоценности человеческой личности оказались созвучными мыслями и действиями бывшего ефрейтора.*

А. Г.: *Одним из проявлений нигилизма по отношению к личности является национальный нигилизм, пренебрежение к национальным чувствам, стремлениям, интересам.*
К. С.: *Все вопросы межнациональных отношений решались у нас на формально-*

доктринерском уровне, и до подлинного формирования межнациональных отношений нам еще далеко. Все эксцессы, которые мы сейчас наблюдаем, — прямой результат такой политики. У нас до сих пор говорят и пишут, что на таком-то заводе, в таком-то поселке живут и работают представители стольких-то национальностей. Спросили ли у них, многие ли владеют родным языком. Я уверен, что большая часть этих представителей им не владеет или же владеет слабо. Какая уж тут дружба народов!

А. Г.: *Я убежден, что дружить могут только вполне свободные народы. Если же национальные права какого-либо народа ограничиваются или само этническое существование народа поставлено под угрозу, — то дружба остается только на бумаге. Шутка ли — на жизни одного поколения, впервые за всю свою историю латыши сделали национальным меньшинством на собственной этнической территории. И опять виною ведомственная политика при антинародном пособничестве республиканских властей. Строя крупные предприятия в Латвии, сэкономили за счет строительства дорог, школ, больниц. А в случае протестов раздавались обвинения в национализме, как это произошло в 1959 году и с тех пор происходит по сей день.*

К. С.: *Надо сказать, что слово национализм слишком долго употреблялось произвольно, стало ярлыком, поводом для притеснений и преследований. Ленин употреблял этот термин в достаточно конкретном и нейтральном смысле и дифференцировал национализм большой и малой нации по степени их особенности, причем основную опасность видел именно в великодержавном национализме. Отказ от принятого во всем мире нейтрального терминологического смысла слова национализм заставляет нас все время подыскивать описательные слова-заменители — национальные чувства, национальное самосознание и т. д. Утверждение, что национализм ставит свою нацию выше других, — неверно, на самом деле он означает признание личностью приоритета интересов своей нации для себя.*

А. Г.: *У Райниса есть слова, прекрасно описывающие диалектику национального и интернационального — «через свой народ любить человечество». И иначе, очевидно, невозможно. Свой народ — это ведь тоже человечество, но, так сказать, данное нам в наших ощущениях.*

К. С.: *Да, иначе невозможно. И, исходя из традиционной логики латышского крестьянина, я вовсе не уверен, что человечество так уж надо любить. Да и дружба народов понятие скорее поэтическое, чем политическое. Но о корректных, цивилизованных, не столько братских, сколько добрососедских отношениях между народами следует говорить. Для латыша отношения между соседями не менее, а часто и более важны, чем отношения между родственниками.*

А. Г.: *Понятие интернационализма также скомпрометировано и нуждается в коренном пересмотре. Оно, как и национализм, было лишено в нашей общественной практике конкретного содержания и использовалось как заклинание, как идеологическое оправдание проводимой административно-бюрократическим аппаратом русификаторской политики.*

К. С.: *Между прочим, Ленин как-то заметил, что самыми яркими русификаторами являются обрусевшие инородцы...*

А. Г.: *А история нашей республики подтвердила и эту гениальную догадку... Судьбы латышей и русских в нашем столе-*

тии так переплелись, что, говоря о национальном вопросе в нашей республике, рано или поздно выходишь на русский вопрос, а именно: как такая огромная нация с великой культурой могла так долго практически безропотно терпеть беззаконие и произвол? Нет ли в самих составляющих русской культуры, русского менталитета таких черт, которые сделали это возможным, не очистившись от которых нация вновь попадет в рабство?

К. С.: *К сожалению, русское национальное сознание слишком легко отождествляет себя с великодержавностью, а интересы народа подчиняет интересам государства. Не изжит еще мессианиззм, согласно которому российское государство есть третий Рим, причем Рим лучший, чем оба предшествующих. А у мессианизма есть и теневая сторона — утопизм, который рано или поздно начинает насильно навязывать другим свои представления о должном.*

А. Г.: *Вы знаете, в середине прошлого века над этими вопросами углубленно размышлял Герцен. Он увидел связь между внешним блеском и силой николаевской России — жандарма Европы — и униженностью русского народа, находящегося в крепостном рабстве. В политическом памфлете «С другого берега» Герцен писал: «Россия отчасти раба и потому, что находит поэзию в материальной силе и видит славу в том, чтобы быть пугалом народов». Примерно в это же самое время Лермонтов признавался в «странной» любви к отчизне, которая не распространяется на славу, купленную кровью. Он же дал убийственную характеристику собственного поколения, которая в значительной мере приложима и к «застойному» поколению —*

К добру и злу постыдно равнодушны...

И перед властью презренные рабы.

К. С.: *А в массовом сознании те черты, которые я назвал выше, все еще присутствуют достаточно активно. Они проявляются даже в таком во всех отношениях прогрессивном и положительном деле, как празднование тысячелетия крещения Руси. Часто утверждается, что этот пункт в истории — начало русской культуры. А как же тысячелетия язычества? Фольклорное сознание — это разве не культура? Кстати, именно в фольклорном сознании, в дохристианском пласте культуры особенно много параллелей между латышским и русским мировосприятием. Связывая русскую культуру с христианством, массовое сознание связывает ее и с государственностью, а это не тождественные понятия. Кроме того, в настойчивом соединении культуры с христианством и государственностью, точнее великодержавностью, проявляется и доныне не изжитый комплекс неполноценности перед Западом и невнимание к реальным связям Руси с соседями на юге и востоке, например половцами. Происходящие сейчас довольно активно поиски истоков русской культуры ущербны потому, что не рассматривают русский народ в контексте других народов.*

А. Г.: *Профессор Афанасьев как-то писал, что история Руси до сих пор предстает перед нами с точки зрения великодержавной Москвы, согласно которой существовали еще «богомерзская Тверь» и «богопротивная Рязань».*

К. С.: *Вот именно. Не говоря уже о Новгороде и Пскове. К сожалению, эта неисторическая точка зрения до сих пор является господствующей. И в истории православия замалчиваются связанные с насильем страницы, как, например, крещение чувашей.*

А. Г.: Надо сказать, что самоотжествление с государством достаточно часто было бедой, а то и виной русской православной церкви. Очевидно, это связано, помимо прочего, с тем фактом, что христианство было принято Владимиром в качестве именно государственной религии. В самой церкви существуют силы, усматривающие благо в отделении государства от церкви и размежевании с ним, однако сказывается и многовековая традиция великодержавности, которую не так легко преодолеть.

К. С.: Могу себе представить, что чувствует татарский школьник, обязаный пересказывать на уроке истории СССР великодержавную трактовку взятия Казани. В школах у нас под видом истории СССР преподается история и идеология русского царизма при полном пренебрежении к истории собственного народа. Насаждаются стереотипы о добровольном присоединении к России и воссоединении с нею, о чем у воссоединенных народов имеется собственное мнение. У латышей диаметрально противоположная трактовка деятельности Петра I, чем та, которую мы изучали в школе. Абсурдно, что латышам приходится называть войну 1812 года Отечественной. Разумно ли требовать, чтобы мы именovali отечеством тюрьму народов? Необходимо наконец признать, что каждый народ имеет право на свою историю, и долг народа передать эту историю своим детям.

А. Г.: Здесь свою дурную роль сыграл все тот же бюрократический централизм, требующий, чтобы по всему Советскому Союзу все школьники занимались по одним и тем же программам. Республиканским министерствам народного образования при этом отводятся только контрольные функции. Обязательную для всех сумму знаний необходимо свести до минимума, с тем чтобы основное содержание образования определялось на местах.

К. С.: Нужно разделить Историю СССР и Историю России. История СССР может начинаться с 1917 года (или с 1922), а история России не может быть обязательной для школ всего Союза.

А. Г. Причем региональная специфика не должна ограничиваться историей. Необходимо учитывать сложившиеся культурные связи Прибалтики, например, с Западной Европой, а среднеазиатских народов с мусульманской цивилизацией, арабским миром. Для них в географии и химии актуальны одни аспекты, для нас — другие. Я вообще не вижу большой необходимости в существовании союзного министерства народного образования, эти вопросы с меньшими затратами и большей эффективностью могли бы решаться на республиканском уровне. Но вернемся к русскому вопросу. Мне кажется, что долг журналистики и публицистики, интеллигенции вообще, всячески содействовать развитию русского национального сознания, помочь ему прийти к пониманию того факта, что возложенная на Россию административно-бюрократическая сталинским аппаратом роль пугала народов не только не делает ей чести, но и ложится бременем неудообоносимым на русский народ. Слишком много энергии, моральных и материальных затрат идет на поддержание этой неблагоприятной роли. Авантюристическая внутренняя и внешняя политика руководства довела такую богатую страну, какой несомненно является Россия, до униженной нищеты. Надо, чтобы русские почаще задавали себе вопрос, соответствует ли политика государства их реальным интересам, или же им пытаются застлать глаза

великодержавным туманом; содействует ли она процветанию нации или удовлетворению корыстных претензий и маниакальных амбиций управленческого аппарата. К. С.: Многие из того, что мы привыкли называть упущениями, на самом деле имеет свою логику. Например, тот факт, что переселенцы или привлеченные на территорию Латвии люди других национальностей были обречены на денационализацию, остались без культуры, без общественной духовной жизни. Дело в том, что такая человеческая единица без национальности, без духовных интересов и является идеальным материалом для бюрократических манипуляций.

А. Г.: Характерно, что денационализации подвергаются не только латыши, «раздавленные» переселенцами или сами эти переселенцы, но и русские в России. О разрушении и уничтожении русской культуры во времена сталинизма и неосталинизма говорят многие русские писатели, да и общество «Память», хотя последнее это зачастую делает в уродливых, отдающих антисемитизмом и ксенофобией формах. Уравниловка и нивелирование — понятия не только экономические.

К. С.: Да, наши правители немало потрудились над тем, чтобы превратить Советский Союз в единый, темный и неделимый, все население которого говорит на одинаково плохом русском языке. Неосталинистической фикцией является и навязываемое нам определение «советский народ».

А. Г.: Какие конкретные пути к построению полноценных и справедливых отношений между народами СССР Вы видите?

К. С.: Я считаю, что основной идеей перестройки является возвращение к нормальным отношениям. Она не прогнозирует утопического будущего, а восстанавливает в правах выстраданные человечеством ценности — национальные, культурные и политические. Надо помнить, что нас не сплотили, а мы, хотя бы в теории объединились. В СССР не должно быть руководящих наций, иначе мы из союза превращаемся в империю. Необходимо вернуться к понятию национально-административных границ как способа регуляции и защиты национальной жизни. В отношении Советского Союза не следует употреблять термин — государство. По конституции — это союз государств, и надо привыкать к мысли, что государство — это республика. Это единственный путь к экономическому, культурному и политическому обновлению Советского Союза.

А. Г.: Суть наших проблем в том, что именно в национальных отношениях сталинское наследие сохранено в первоизданном виде. Период оттепели в десятилетие Хрущева для Латвии в этом аспекте обернулся еще более глубокой зимой.

К. С.: Был реализован и сохранился до сих пор сталинский план автономизации, а нам нужен ленинский союз государств. Необходимы политические и юридические гарантии полноценного национального существования. Здесь можно провести параллель с экологической ситуацией, а национальный вопрос, на мой взгляд, является сейчас частью комплекса экологических проблем, и именно так к нему следует подходить.

А. Г.: В совсем недавнем прошлом межнациональные отношения в Латвии характеризовались значительным антагонизмом. Теперь появились надежды на улучшение ситуации, но проблемы остаются.

К. С.: В основе их лежит тот факт, что значительная часть представителей иных на-

циональностей, живущих в Латвии, попросту игнорирует существование латышского языка и не считает необходимым его изучение. Мне приходилось встречаться с людьми, которые без обиняков, и без стеснения откровенно заявляют, что латышский язык изучать они не собираются, потому что он бесперспективный. Многие и по сей день так считают, хотя надо сказать, что интерес к изучению языка вырос, и сам процесс изучения несколько активизировался. Но пока недостаточно. В школьных программах и в практике школьного обучения латышский язык в Латвии до сих пор в неравном положении.

А. Г.: В последнее время вновь поставлен вопрос о суверенном латвийском государстве — Латвийской Советской Социалистической Республике. Я считаю, что одной из прерогатив суверенного латвийского государства является защита латышского языка. Первым шагом должны быть признание его государственным языком Латвийской ССР и комплекс мер, обеспечивающих реальное функционирование латышского языка в таком качестве.

К. С.: При этом, принимая во внимание большое число говорящих на других языках, необходимо последовательное введение двуязычия повсюду, где есть многонациональное население. Молодежь уже в школе должна научиться уважать язык.

А. Г.: В настоящее время приняты сформулированные Министерством народного образования цели обучения латышскому языку в русской школе. На мой взгляд, они недостаточны, так как предполагают только владение разговорной речью (сейчас и это кажется идеалом). Но только владение латышским языком в таком же объеме, в каком требуется владение русским языком в латышских школах, плюс основательный курс истории и культуры Латвии предоставит выпускнику русской школы возможность в полной мере участвовать в культурной и общественной жизни республики. Пока он лишен такой возможности.

К. С.: К сожалению, до сих пор наша деятельность по пропаганде латышской культуры среди местного иноязычного населения остается без ответа. Положение создано дочтаточно серьезное. Происходят вечера латышской поэзии на русском языке, ценой больших усилий они подготавливаются на хорошем уровне с участием хороших специалистов. Однако эти вечера не собирают зрителей, а местная русская пресса обычно отказывается как-либо комментировать и рекламировать эти мероприятия.

А. Г.: Очевидно, необходим целый комплекс мер, план защиты и пропаганды латышской культуры. Он должен включить законодательные меры, школьное образование, работу прессы и изучение межнациональных отношений социологами, этнопсихологами, демографами.

К. С.: Кроме того, одним из подходов к решению национальных проблем в нашей республике, да и любой другой, может быть представление всем народам хотя бы минимальной культурной автономии, возможности сохранения своих национальных корней. Тогда между латышами и представителями других наций не будет настолько антагонистических отношений. Будет платформа, на основе которой легче прийти к взаимопониманию.

А. Г.: А в этой области у латышей существует богатый опыт, как в дореволюционное время, так и во времена Латвийской республики.

К. С.: Еще в царской России в Петербурге существовали редакции латышских газет, функционировало Общество содействия развитию латышской культуры. В досоветское время, в период между мировыми войнами, в Латвии у немцев, русских, белорусов, евреев, литовцев, эстонцев были национальные общества культуры, пресса, театры, и это считалось нормальным явлением. В настоящее время белорусов в Латвии в несколько раз больше, однако у них нет собственной культурной жизни, а тогда Народный поэт Латвии Янис Райнис баллотировался в латвийский сейм от белорусской общины. Поучительна и деятельность Райниса в семье, где он активно защищал национальные интересы этнических меньшинств. Таковы исторические прецеденты.

А. Г.: Пожалуй, не следует пренебрегать и опытом национальных отношений в Советской России до сталинского переворота. У латышской эмиграции, которая была очень активной в политическом и культурном отношении, в России были свои школы, театр, педагогический институт, издательство, клубы.

К. С.: Эти традиции нужно возродить. В наших условиях, когда решение национальных проблем можно реализовать на уровне государственной политики, следует учредить институты по изучению языка и культуры народов СССР. В Москве, Ленинграде, но не только там, а и в других крупнейших культурных центрах нашей страны. Непонятно, как в Ленинградском университете на отделении восточных языков можно изучать турецкий язык, не изучая азербайджанского. Финский — без эстонского. Принципы преподавания очень часто не научно-лингвистические, а политико-административные. Неужели в крупнейших центрах славяноведения не нужны кафедры баллистики, существующие во многих университетах Европы, Америки и даже Австралии.

А. Г.: Это такое наследие сталинизма. К. С.: И разумеется, если бы национальные меньшинства в Латвии получили бы возможность развивать собственную национальную культуру, они нашли бы всю возможную поддержку со стороны латышских деятелей культуры, латышской интеллигенции.

А. Г.: Мне кажется, и подобные мысли уже высказывались в научной литературе, что сейчас начинается период плюрализма в истории человечества. Это исторический плюрализм, воспринимающий различные периоды истории как равно, хотя и по-разному, ценные; этнопсихологический и культурный плюрализм, относящийся к культуре каждого народа как к самостоятельной непреходящей ценности; политический и социальный плюрализм, предполагающий уважение к суверенности каждой человеческой личности.

К. С.: Несомненно. Период унификации, видимо, близится к концу. И этот конец надо приближать всеми доступными нам способами. Сейчас более важна и ценна конкретность — индивидуальная и национальная. Здесь есть одна очень важная вещь, известная мне по моему опыту поэта, но вполне приложимая и к национальным отношениям. Если прежде к оригинальности стремились как к чему-то вневременному, стремились ее создать, то теперь человек ищет эту оригинальность в себе, старается ее осмыслить и сохранить.

А. Г.: Да, это действительно принципиально разные подходы.

К. С.: Теперь мы понимаем, что ничего

создавать не нужно, все уже есть. И тот, кто, стремясь к оригинальности, пытается говорить от лица всего человечества, только доказывает свою провинциальность. А. Г.: Именно в наше время, когда мир балансирует на грани катастрофы, особенно наглядно проявляется параллель между выживанием человечества и выживанием нации.

К. С.: Да, это часть общего вопроса. Так же, как человек ценен своей самобытностью, своей оригинальностью, так и нация, и ее самобытность нужна не только ей самой. Она нужна всем, даже тем, кто этого еще не понимает. К сожалению, за идеальную модель национального развития у нас слишком долго принимался американский образец — котел, в котором все нации переплавятся и сольются воедино. Следовало бы принять европейский образец, в котором учитываются национальные интересы всех наций. Нам не все равно, что происходит с валайцами, басками или саами.

А. Г.: Отношение к американскому варианту следовало бы тем более пересмотреть, сами американцы от него уже отказываются и начинают осознавать национальное культурное наследие выходцев из разных стран как достояние, делающее американскую культуру богаче и разнообразнее. И необходимо раз и навсегда отказаться от деления народов на великие и малые.

К. С.: В области культуры какой-нибудь дальний северный народ имеет настолько уникальные ценности, что их необходимо сделать известными и доступными всему человечеству. И все-таки упомянутая Вами иерархия действительно существует в сознании многих людей. Чтобы преодолеть эти неверные представления, потребуются долгий и упорный труд, за который вряд ли приходится рассчитывать на аплодисменты. Одной из главных отличительных черт культуры является понимание. Понимание ценности — не механическое, а диалектическое — заимствование друг у друга. Не всего, конечно, потому что не все можно и нужно перенимать, у каждого свои представления о добре и зле...

А. Г.: Здесь очень важно осознавать ценность и того, что мы не собираемся перенимать. Для нас это непримлемо, а внутри другой культуры — хорошо.

К. С.: Совершенно верно, и тогда то, что кажется некультурным, диким оказывается культурной ценностью, но отличной от того, к чему мы привыкли. Осознание этих ценностей, на мой взгляд, не только не ослабляет собственное национальное самосознание, а как раз наоборот, укрепляет и углубляет его, делая межнациональные отношения более цивилизованными и корректными.

А. Г.: Пора, я думаю, подводить итоги. Мы в основном говорили о проблемах, стоящих перед латышами, а также о латышском менталитете как таковом. А что, если попытаться смоделировать возможную роль Латвии и латышской культуры для других народов?

К. С.: Мы продолжаем оставаться специфическим культурным регионом и для Советского Союза и для Европы. Ценность этой специфики и интерес к ней, на мой взгляд, растут. Все возрастающий интерес вызывает выраженный в поэтических символах фольклора и поэзии метафорический опыт нашего народа. Многим непонятно, как может существовать целая нация, у которой поэзия играет роль национального евангелия. Возьмите хотя бы Дни поэзии и все связанные с ними торжества. Даже достаточно близким народам, таким как

немцы или поляки, трудно понять этот феномен. Им это в известной степени напоминает их собственный период романтизма. Вроде бы популярность поэзии сейчас идет на убыль, но понимание поэзии становится глубже и тоньше, так что в целом влияние ее не уменьшается, а, наоборот, качественно даже растет.

А. Г.: Специфичность прибалтийского региона для Советского Союза состоит, кроме того, в его европейскости. Расхожие представления о Прибалтике как о советском Западе не лишены оснований.

К. С.: Да, Прибалтика сохраняется как своего рода заповедник европейскости в Советском Союзе и, если уж говорить о национальной миссии, то мы могли бы исполнять роль моста, или, еще лучше, культурного посредника между Россией и Западной Европой. Частично мы эту роль уже выполняем, но могли бы выполнять еще лучше. Так, люди, профессионально занимающиеся культурой, в Латвии могли бы найти явления, соединяющие немецкий и русский менталитет, которые на первый взгляд трудно соединимы. В сочетании с традиционной латышской устойчивостью это дает весьма плодотворные результаты.

А. Г.: Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что важны не только и, может быть, даже не столько какие-то отдельные вершины латышской культуры, а вся ее самобытная модель в целом.

К. С.: Да, это очень хорошо. Необходимо объяснить людям, как мы смотрим на мир. Чтобы нас лучше понимали, чтобы поддержали, когда мы сами не справляемся. Хотя на это особенно полагаться нельзя, надо опираться на собственные силы. И все-таки вопрос о сохранении и защите нации и национальной самобытности, вопрос очень актуальный, принадлежит, на мой взгляд, к экологии культуры. Процесс денационализации может наделать больше вреда, чем навязанная чужая культура или религия. Это процесс еще более разрушительный и опасный. В предшествующие столетия у тех, кто нам навязывал себя в господство, не было стремления разрушить или дезорганизовать наше этническое бытие. Их эти вопросы не интересовали, они с нами, так сказать, не водились. В сегодняшней ситуации перед нами встает задача модификации национальной модели, созданной на основе иного исторического и социального опыта.

А. Г.: Я думаю, что можно говорить о начале второго национального Пробуждения, задачей которого является восстановление нации в ее естественных правах. Это подводит нас к заглавному вопросу. Итак, легко ли быть латышом?

К. С.: Не легко, и в то же время, если бы я был верующим, то свою утреннюю молитву начинал бы с благодарности Богу за то, что он сотворил меня представителем маленькой, а не большой нации. Это во многих смыслах затрудняет мое физическое существование, но это заставляет меня намного углубленнее и сосредоточеннее размышлять не только о судьбах своей нации, но и о судьбах мира. Это и трагедия и преимущество маленькой нации — ей больнее, но ей и виднее. И ее боль, если в ней не замыкаться, не провозглашать ее принципом, — живительна. Для человека ее особенно чуткой к чужой боли, готовой к пониманию и общению. С другой нацией, но — нацией, а не денационализированными элементами. С ними контакт невозможен.

Апрель — май 1988 год

ВИЛНИС ЗАРИНЬШ ФИЛОСОФИЯ ГРАБИТЕЛЕЙ

В отличие от несыванного в истории Германии культа вождя, по части национализма нацистские идеологи всего лишь продолжали традиции реакционнейших германских империалистов.

В Германии национализм как идейное и политическое течение оформился в начале XIX века. Это был лозунг, под которым местная буржуазия боролась с засильем французских буржуа в своей стране. В то время как правящие круги Франции, опираясь на военные успехи Наполеона I, стремились к господству во всей Европе, содержание немецкого национализма во многом было демократичным (впрочем, как и у любого угнетенного народа). Яркое тому свидетельство — философские и публицистические сочинения Иоганна Готлиба Фихте и ряда других идеологов, произведений Эрнста Морица Арндта, Теодора Кёрнера; всё это в целом способствовало сплочению немецкой нации и освобождению Германии от французского владычества.

В период реакции, последовавший за наполеоновскими войнами, немецкий национализм не стал, однако, фактором единения и прогрессивного развития страны, а выродился, ввиду слабости местной буржуазии, в пустое самовосхваление и идеализацию прошлого. С тех пор он уже никогда не играл прогрессивной роли в истории Германии, хотя и сопутствовал революции 1848—1849 гг., объединению страны и т. д. В XIX веке германские политики, и прежде всего Бисмарк, умело использовали национализм для вовлечения народных масс в реализацию своих планов, борьбу с космополитической Габсбургской империей, Францией и притязаниями католического духовенства. При таком историческом раскладе в немецком национализме осталось мало прогрессивного. Почти на всех националистических доктринах буржуазных теоретиков, начиная с первой половины XIX века, уже лежит печать антидемократичности, консервативности, а подчас и откровенной реакционности.

Одним из виднейших теоретиков национализма в XIX веке был Фридрих Карл фон Савиньи — в начале столетия он, первым в Германии, высказал мысль о приоритете нации над государством в области права и писал о «народном духе», с которым надлежит считаться законодателям. Во второй половине столетия агрессивную внешнюю политику Германии оправдывал националистическими лозунгами Генрих Трейчке. Он утверждал, что Германия вправе аннексировать Эльзас и Лотарингию, а также другие населенные территории даже вопреки воле их населения.

В обстановке шовинистического угара в Германии периода ее объединения, особенно после франко-прусской войны, мистическую трактовку идей немецкого национализма дал композитор Рихард Вагнер. Новатор оперного искусства, он был

активным участником революции 1848 года. В его операх возрождались древнегерманская мифология, идеализовались герои и обычаи германских легенд раннего средневековья. Культура и мораль развитого феодализма и капитализма отбрасывались, особенно плоды контактов с другими странами. Отрицая просвещение, гуманизм, а в известной степени и христианство, герои вагнеровских опер утверждали национализм, не связанный юридическими и моральными нормами цивилизованного общества, замешанный на варварском племенном праве и традициях. Всё это клалось в основу общественно-политической жизни. Эту мистико-националистическую почву впоследствии взрыхляли апологеты германского империализма, в нее бросали семена и нацистские идеологи.

Правящие классы Германии не раз прибегали к националистической демагогии для отвлечения трудящихся масс от классовой борьбы. Национализм и идеализация прошлого вооружали реакционных политиков добавочными аргументами против демократии, которая изображалась как инородная «штучка», не соответствующая германским традициям и немецкому духу.

Немецко-фашистская националистическая пропаганда в целом была монархой. До 1918 года национализм тут был в основном в форме монархизма, и многие его идеологи, особенно с конца XIX века, были яркими монархистами, сторонниками главным образом династии Гогенцоллернов.

В немецко-фашистской идеологии национализм часто сочетался с социал-дарвинизмом и расизмом. Нация неоднократно трактовалась как биологическая категория. Но смешение понятий не значит, что можно ставить знак равенства между национализмом гитлеровцев и расизмом. Это не одно и то же.

В работах Гитлера, и прежде всего в «Моей борьбе», почти всюду, где идет речь о немецком народе, открыто или в подтексте протаскивается расизм. Гитлер толкует о единстве народа, расы, государства и территории, о немецкой расе. Однако, наряду с проповедью биологизированного национализма, в гитлеровской Германии всегда существовал и пропагандировался официозами и традиционной, «до боли знакомый» немецкий национализм. Продолжали писать в духе «старых традиций» апологеты германского милитаризма, прибалтийско-немецкие историки и публицисты, глашатаи национализма иных (профессиональных либо территориальных) оттенков. Выяснить, какой же подвид национализма — биологизированный или традиционный — в большей степени замутил сознание масс, какой из них для фашистского режима типичнее, — напрасный труд.

Национальные интересы немецкого народа были той завесой, под покровом которой фашисты ликвидировали в Гер-

мании демократические свободы. Национализм был главным аргументом и официальным предлогом для развязывания агрессии против Чехословакии, Польши и других соседних стран. В той или иной форме, и по тому или иному поводу его каждодневно тиражировала германская пропагандистская машина. В фашистской идеологии он занимал почетное место.

В трудах национал-социалистов расступаны утверждения, что народ, разумеется немецкий, является высшей ценностью и его «суверенным интересам должно быть подчинено всё» (А. Гитлер), включая государство. Эти интересы имеют приоритет над всеми другими ценностями и составляют основу авторитета любого населенного немцами государства. В том случае, если интересы немецкого народа ущемляются, грозил автор «Моей борьбы» (с. 103—104), он имеет право и обязан поднять мятеж. А Розенберг в «Мифе XX века» пошел по дорожке национального прагматизма еще дальше, заверяя читателей, что теория чего-то стоит, если служит немецкому народу (с. 644—645).

На взгляд наци, одной из главных причин несчастий немцев является сверхтерпимость к другим народам, этакая чрезмерная объективность в национальном вопросе. Эта мысль на все лады варьируется в «Моей борьбе» (с. 120, 123—124 и др.). Такая объективность, изрек Геббельс 30 мая 1943 года, подобна сорняку, который заглушает здоровый жизненный инстинкт и инстинкт самосохранения немецкого народа («Крутой подъем», с. 284). Немцы, сокрушался Гитлер, многое знают о величии родины, разбираются в культуре и искусстве, но им недостает национальной гордости. А вот французам она прививается с детства. Имея неразвитое национальное чувство, немцы покорно сносят обиды со стороны других народов, а при угрозе вместо того, чтобы беспрекословно стать на сторону своего народа, принимаются выяснять, кто прав и кто виноват.

От молодежи нацисты требовали быть националистичной, ставить во главу угла права своего народа, крепить инстинкт национального самосохранения. Боязнь власти в шовинизм Гитлер объявил признаком импотенции. Только если в душе масс, прежде всего в сердцах молодежи, национализм укоренится «на уровне инстинкта и разума», писал он, может возникнуть непобедимый народ, состоящий из граждан немецкого государства, связанных и сплоченных общей любовью и гордостью.

Важнейшей предпосылкой национальной солидарности он считал борьбу с марксизмом. Признавая роль пролетариата в политических битвах, Гитлер именно в национализме видел противоядие марксизму, его влиянию на умы и души рабочих. В то же время нацисты учили, что успех националистической пропаганды всецело зависит от ряда социальных мероприятий или, по меньшей



Фоторепродукции ГВИДО КАЙОНСА.

мере, от успеха социальной демагогии. Во имя националистических лозунгов Гитлер публично требовал (например, в речи в Темпельгофе 1 мая 1933 года; приведена в книге Герда Рыле «Третий рейх. Год первый 1933», с. 124—126) единства нации, отречения от классового безумия и разделения общества на «искусственные» классы, провозглашал классовый мир; во имя этих лозунгов он требовал и безоговорочного послушания, повиновения фашистскому режиму.

Полистаем «Мою борьбу». В ней мы найдем категорический призыв к тому, чтобы националистическая идеология стала убеждением не какой-либо части немецкого народа, а буквально всех немцев, к тому же национализму масс надлежит быть не умеренным и объективным, а крайним и фанатичным. «Необходимо, — сказано на с. 491, — чтобы немецкий юноша почитал за большую честь быть хоть и мусорщиком, но гражданином Германии, чем королем, но на чужбине». Смысл фразы — отвлечь внимание трудовой молодежи от реальных проблем страны.

Национальный фанатизм породил духовное смятение в широких слоях общества и сделался важным фактором психологической подготовки второй мировой войны.

Но и национализм, в представлении Гитлера, был всего лишь средством достижения сугубо практических целей. Дело политиков, указывал он, заботиться не о том, чтобы народ погиб как герой, а использовать все пути для его сохранения. Излишне добавлять, что авантюристическая политика нацистов шла вразрез с этим тезисом.

Для возвращения националистических чувств был предложен комплекс мер. Необходимо, писал Гитлер, чтобы каждый немец был знаком с творчеством ряда выдающихся немецких ученых и деятелей культуры, при этом главное не их конкретный вклад, а то обстоятельство, что они немцы, — подчеркивание этого будет способствовать воспитанию национальной гордости. Он заявлял: бороться можно только за то, что любишь, любить лишь то, что чтишь, а чтить — то, с чем хотя бы знаком. «Науку, — писал Гитлер, — народное государство тоже рассматривает как вспомогательное средство воспитания национальной гордости. Не только мировая история, но и вся история культуры должна преподноситься с этой точки зрения. Первооткрыватель должен представлять не столько как великий ученый, сколько как великий соплеменник».

Культивированию национализма наиболее благоприятствует изучение истории. Гитлер осуждал практику зубрежки дат и имен, требовал сократить объем фактического материала, обратив главное внимание на важнейшие линии исторического развития, настаивал на том, чтобы история в первую очередь рассматривалась и преподавалась как взаимосвязь расово полноценной крови с развитием культуры. Национал-социалистическая концепция истории, и германской в особенности, была эклектичной, как, впрочем, и все другие элементы нацистской теории. Последовательным был только полнейший произвол в выборе и толковании фактов и событий. Опровергать все эти фальшивки нет смысла. Достаточно упомянуть некоторые.

В представлении немецких фашистов, германцы до нашей эры отнюдь не были

варварами. Хотя их творческие силы и были скованы суровой природой северной родины, но... но живи они южнее и имей к услугам низшие народы в качестве технического подсобного средства, дремлющая в них способность творить культуру расцвела бы не менее ярко, чем у древних греков («Моя борьба», с. 320).

О Священной Римской империи они постоянно упоминали как о нескрываемой неприязни, как о латинизированном католическом государстве, в корне чуждом германскому духу. А Розенберг говорил, что кровь, пролитая немцами ради этого государственного образования, была пролита напрасно («Миф XX века», с. 478). Германский кайзер выгацал папу из болота и обеспечил служителей церкви, а благодарный Рим всячески стремился ослабить власть кайзера и натравливал на него вассалов (с. 195). В то же время некоторые нацистские историки (см.: Х. Шедер «Эпохи имперской политики на северо-востоке со времен люксембургской династии до Священного союза» // «Германские исследования восточных территорий». — Лейпциг, 1943. — Т. 2. — С. 8) охотно упоминали о временах расцвета Священной Римской империи в конце XIV века, когда она вместе с вассальными государствами (Ливонским орденом, Венгрией, Молдавией и Валахией) простиралась от Балтики до Черного моря. На протяжении более чем тысячелетней германской истории Гитлер усматривал только три положительных, на его взгляд, события, а на деле кровавых и насильственных, отнюдь не способствовавших обществу прогрессу в Германии и лишь принесших много страданий ее соседям. Это колонизация Остмарка (территория современной Австрии) предками баварцев, это завоевание и колонизация земель к востоку от Эльбы, это, наконец, организация династией Гогенцоллернов Бранденбургско-Прусского государства, служившего образцом и ядром кристаллизации молодого германского государства («Моя борьба», с. 733).

О Пруссии немецкие фашисты отзывались с большой теплотой. Особенно высоко Гитлер ставил дисциплинированность прусской армии, что, мол, содействовало преодолению якобы присущего немцам непомерного индивидуализма и укоренению дисциплины в немецком народе. Прусского короля Фридриха II нацисты почитали за идеал «немецкости» («Миф XX века», с. 198), подобный Периклу символ души нордической расы (там же, с. 293).

В объединении Германии они считали положительным моментом самый что ни на есть реакционный: а именно то, что объединение произошло в результате войны по воле германских правящих кругов. Немецкие фашисты резко осуждали политические тенденции, преобладающие, по их мнению, в Германии и Австро-Венгрии в канун первой мировой войны. Согласно Гитлеру, Германия заслуживала сурового упрека за излишний парламентаризм, нежелание готовиться к войне и покорять новые территории в Европе. До войны, заявлял фюрер, в немцах не было ни грана национализма. В Австро-Венгрии они жили на положении угнетенного народа, который пыталась истребить дружественная славянам Габсбургская монархия.

Трудно представить, чтобы Гитлер сам верил в эти рассказы, ничего общего

с историческими фактами не имеющие. Но нацистская пропаганда факты ни во что не ставила.

Тенденциозность, грубые подделки особенно наглядны в отношении первой мировой войны и послевоенного периода. Гитлеровцы упрекали довоенных германских политиков в чрезмерном миролюбии; те мол, заботились не о расширении территорий и завоеваниях, а всячески пытались сохранить мир во всем мире («Моя борьба», с. 156). Несколько дальше автор пишет о том, что излишнее миролюбие германского правительства было причиной оттяжки военных действий, и самые выгодные для разгрома противника часы были упущены (с. 176). Гитлер внушал читателям, что германская армия не была разбита, а наоборот — близка к победе, которую у нее похитили немецкие либералы, марксисты и евреи (с. 213, 215, 221 и 225). «Мы, немцы, — писал Геббельс в изданной в 1935 году в Берлине книге «Сущность и образ национал-социализма», — в военном отношении одержали в войне блестящую победу, но политически проиграли по всем статьям...» (с. 16).

После первой мировой, утверждали национал-социалисты в «Программе НСДАП», составленной инженером Готфридом Федером (Мюнхен, 1930, с. 41), Германия перестала быть суверенным государством и стала колонией рабов. Довоенная Германская империя, полагал Гитлер, культивировала свободу во внутренней политике и силу во внешней, в то время как Веймарская республика слаба в сравнении с другими странами и подавляет собственных граждан.

До прихода к власти, а особенно в первые годы после ее захвата, когда ремилитаризация Германии еще не была завершена, нацисты рекламировали свое миролюбие и требовали для немецкого народа равных прав с другими народами (см. п. 2 Программы НСДАП).

Громогласное осуждение неравноправия и угнетения наций прозвучало в речи Гитлера в Липе 15 января 1934 года: «Если мы хотим вновь возвысить наш народ, то это возможно лишь путем обеспечения ему равноправия на земле. равные права и равное уважение — вот две позиции, которым я фанатически следую с 30 января 1933 года. Я убежден, что подлинный мир между народами возможен лишь на этой основе, а не тогда, когда одни народы клеймятся как илоты и рабы, а другим предоставляются права, которые им не причитаются. Мы не хотим ограничивать жизненные возможности ни одного народа, не хотим подавлять, угнетать или поработать ни один народ. Но и мир должен прекратить угнетать нас».

«... Нам, немцам, реванш не нужен, поскольку мы за четыре года войны снизили такую славу, что ее хватит на столетия», — сказал в своей речи в берлинской опере 17 марта 1935 года военный министр Германии фон Бломберг. И еще: «... Мы желаем выравнивания и снятия невыносимой напряженности путем мира, который предоставит равные права и равную безопасность всем народам».

На деле энергично готовясь к реваншу, а на словах его осуждая, ораторы формально соблюдали установку Гитлера по вопросу о реванше и границах. В «Моей борьбе» Гитлер охарактеризовал требование возврата к границам 1914 года как величайшую политическую нелепость,

которую, ввиду возможных последствий, следует квалифицировать как преступление (с. 736). Но отвергал он это требование лишь потому, что оно казалось чересчур скромным и не предусматривало непрерывного расширения германских границ (с. 739, 741, 754).

Нацисты добивались «равноправия народов» исключительно для того, чтобы улучшить положение немцев и только немцев; одновременно они признавали и провозглашали неравноправие наций и деление их на высшие и низшие. 24 октября 1933 года Гитлер выступил предвыборной речью в берлинском Дворце спорта: «Мы желаем мира, мы желаем взаимопонимания, но мы хотим сохранить и наше достоинство и равноправие. Мы не хотим, чтобы с нами обращались как с второсортной нацией...» Еще и в годы второй мировой войны в пропагандистских брошюрах для солдат утверждалось, что гитлеровская армия воюет не для того, чтобы покорить другие народы, а для защиты культурного единства Германии и европейских народов.

Национально-освободительное антиколониальное движение, делавшее после I мировой войны первые шаги (главным образом в Азии и на Ближнем Востоке), немецкие фашисты в принципе осуждали. Они отвергали саму мысль о помощи колониальным народам, борющимся за свою независимость, ибо в их понимании это означало вступить в сотрудничество с расово неполноценными людьми, как-то: египтянами, индусами и проч. («Моя борьба», с. 747).

Национал-социалистические сочинения были пропитаны глубокой ненавистью к национальным чаяниям других народов и идее подлинного равноправия наций. «Мы можем констатировать, что южноафриканцы смешанной расы или смешанное население Ост-Индии также совершают «националистические революции», негры на Гаити и в Сан-Доминго переживают «националистическое» пробуждение и что в связи с лозунгом самоопределения наций совершенно формально и все малоценные элементы нашей планеты требуют для себя свободы», — писал А. Розенберг в «Мифе XX века». — Все это нас либо вовсе не интересует, либо интересует лишь постольку, поскольку, используя это, дальновидная германская политика обещает укрепление германской нации, а также, в рамках германского пробуждения, и укрепление немецкого народа». Г. Гиммлер, выступая перед руководителями СС в Познани 4 октября 1943 года и сетуя на сопротивление угнетенных народов на оккупированных немецкими фашистами территориях, высказал убеждение, что Гердер (философ просветителя XVIII в.) был, видимо, пьян, когда, интересуясь фольклором других народов (кстати, и латышского. — Прим. пер.), способствовал пробуждению у них национальных чувств. По Гиммлеру, ни чехи, ни словаки ни за что бы не пришли к национальному самосознанию своими собственными силами, а теперь оно, как на беду, противостоит эсэсовцам.

Комментируя в «Моей борьбе» газетные сообщения о том, что некоторые негры получили высшее образование и стали адвокатами, учителями, священниками и т. п., Гитлер восклицал: «... это преступное безумие дрессировать природную полубезыяну так долго, пока не начинают верить, что из нее сделали адвоката, тогда как миллионы пред-

ставителей высшей культурной расы должны пребывать в совершенно недостойном положении... Ибо здесь речь идет о дрессировке в том смысле, как дрессируют пуделя, а не о научном «образовании» (с. 479).

С приходом фашистов к власти в Германии и усилением милитаризации тон, в каком нацисты позволяли себе отзываться о других народах Европы, становился все более высокомерным и пренебрежительным.

Рудольф Гесс в речи в Данциге 5 апреля 1935 года, рассуждая о судебном приговоре нескольким немецким сепаратистам в Клайпедской области (Литва) весной 1935 года, заявил: «... то, что малые государства все еще осмеливаются на такое, является следствием потери уважения к Германии в мире при прежнем режиме». 10 сентября 1938 года Г. Геринг, держа речь на партийном съезде в Нюрнберге, охарактеризовал положение чехов и немцев в Чехословакии в следующих словах: «... Мы знаем, насколько это невыносимо, когда такой крохотный малокультурный осколок народа, — о котором никто не ведаёт, откуда он вообще взялся, — непрерывно угнетает и подавляет культурную нацию. Но мы знаем также, что главное — это не комичная мелюзга из Праги, за нею стоит Москва, за нею стоит еврейско-большевистская рожа».

На практике нацисты исходили из концепции уникальной исторической миссии немецкого народа, миссии, перед которой меркнут личные интересы немцев, но прежде всего — другие народы. Главное — сохранить и приумножить еще не искореженные благороднейшие составные элементы немецкого народа и всего человечества (!). Согласно А. Розенбергу, германско-немецкая воля была решающей силой в формировании западной культуры (тезис из речи в Мюнхене 3 апреля 1943 года, опубликованной на следующий день в «Фелькишер Beobachter»). В течение столетий, уверял Геринг в интервью для хертовской печати в сентябре 1934 года, Германия была в центре мировых интересов, иностранцы следили за ее развитием с восхищением и уважением, хотя подчас и с известным недоверием. Это потому, что немецкий человек воистину человек особого типа. Его отношение к миру тяжеломерно, серьезно и основательно. Это отношение привито ему особым положением Германии в центре Европы и судьбою немецкого народа. Немецкий народ, в унисон вещал Геббельс, непревзойден по мощи и интеллекту. В доме немецкого крестьянина, говорил Розенберг, выступая в Праге 16 января 1944 года, больше культуры, духовной свободы и творческой силы, чем во всех городах мира вместе взятых с их небоскребами и волнистым железом (очевидно, имеются в виду трущобы. — В. З.).

Немецкие фашисты старались заразить фанатичным национализмом все слои общества. Программой НСДАП предусматривалось увольнение немцев со всех ответственных постов в Германии (с. 43). В то же время на 42-й странице этого документа утверждалось, что все немцы, живущие за границей, должны быть создательными борцами и форпостом немецкости, а не апостолами человечности...

Подведем черту. Вывод может быть только один — идеологи национал-со-

циализма стремились лишить всех проживающих в Германии представителей других народов элементарных человеческих прав и в то же время требовали, чтобы иностранные немцы не только были привилегированным меньшинством в странах проживания, но и могли беспрепятственно действовать в качестве агенты германского империализма.

Автор Программы НСДАП, поясняя первый ее пункт, указывал, что все, в ком течет немецкая кровь и кто сегодня живет в датском, чешском, польском, итальянском или французском государстве, должны соединиться в общее германское государство. Гитлер еще не пришел к власти, но требование аннексии почти всех соседних с Германией стран фактически уже было выдвинуто его партией.

Прочитируем упомянутую программу (с. 19): «Мы не отказываемся ни от одного немца ни в Судетской Германии, ни в Эльзас-Лотарингии, ни в Польше, ни в колонии Лиги Наций Австрии, ни в странах-преемницах старой Австрии. Но это требование лишено тем не менее (читай наоборот) какой-либо империалистической тенденции, это простое и естественное требование, которое каждая могучая нация выставляет и признает само собой разумеющимся». Многие идеологи нацизма, в частности Гиммлер, звали, в продолжение пангерманистских традиций, к сплочению всех германских народов под сенью Германии. По мысли А. Розенберга («Политический дневник», запись от 30 апреля и 10 мая 1940 г.), скандинавы довольно быстро смогли бы смыть с себя демократическую побелку, после чего в них проступил бы древнегерманский характер. Голландцы, наоборот, жаждут торговать, они с 1648 года чужды германской сущности, у них единая душа с мировым еврейством.

Дальнейшие судьбы немецкого народа и всей Европы национал-социалисты представляли себе по-разному. Но все их планы предусматривали значительное расширение границ Германии, захват соседних стран и расселение на завоеванных территориях немцев-колонистов («Миф XX века», с. 642; «Моя борьба», с. 754).

Нацисты признавали, что немецкий народ не лишен и определенных недостатков. Перечислены они в главном труде Гитлера. Самый существенный — это недостаточное расовое единство, ибо не язык является фундаментом нации, а кровь. Подобно тому как ценность народов с расовой точки зрения неодинакова, люди внутри одного народа также отличаются в расовом отношении. К тому же представители всякого народа делятся на классы. Под словом «класс» Гитлер и его последователи понимали деление не по социальным, а по психическим и моральным качествам. Первый класс составляют наилучшие люди, им присущи все добродетели, отвага и готовность к самопожертвованию. Второй класс — чрезвычайно дурные люди, им свойственны эгоизм и всяческие пороки. Третий класс обнимает большинство народа, лишенное как сверхъестественного героизма, так и преступной подлости. В годину народного подъема у руля оказывается цвет нации, в годы обыденной жизни и стабильного существования преобладает посредственность, в пору кризиса и развала на передний план выдвигаются представители самой плохой группы.

Первая мировая война, считал Гитлер, крайне ослабила цвет немецкой нации, обескровила его, так как этих людей, которые жертвовали собой во имя своего народа, погибло больше других; в то же время дурные люди, прятаясь за чужими спинами, делали революцию и дезорганизовывали Германию. Только при условии достижения расового единства немецкий народ сможет занять достойное место в мире. Будь немецкий народ спящим в расовом отношении так прочно, чтобы возник стадный инстинкт (Herdeninstinkt), в критические моменты оберегающий нацию от распада, тогда, с точки зрения Гитлера, Германия владычествовала бы на Земле и ход мировой истории совершенно переменялся бы.

Стремясь к мировому господству, немецкие фашисты сделали одним из центральных пунктов своей идеологической системы расизм, в полном соответствии с изложенной выше абсурдной концепцией.

РАСИЗМ

Принадлежность к немецкому народу, труд на благо его, знание немецкого языка, усвоение немецкой культуры, выдающиеся личные достижения — всё это в глазах гитлеровских идеологов еще не позволяло считать человека полноценным немцем. Куда важнее работоспособности, заслуг и уважаемых черт характера — текущая в жилах кровь. Течет в тебе арийская кровь — значит, тебе положены привилегии, пусть ты и не имеешь никаких заслуг (см.: Вальтер Дарре «Новая земля» по крови и земле». — Мюнхен-Берлин, 1943. — с. 189). Кровь неарийская или недостаточно арийская — каковы бы ни были твои личные способности и успехи, ты подлежишь уничтожению.

Расизм — отнюдь не изобретение национал-социалистов. Едва ли не всегда и повсюду, где социальный гнет переплетался с национальным, правящие круги культивировали расизм в той или иной форме. Вспомни кастовое деление в древней Индии, отношение древних греков и римлян к варварам. В средние века расизмом было пронизано отношение норманнов к саксам в Англии конца XI—XII века, обращение немецких феодалов, городских патрициев, а в какой-то мере и бюргеров с западнославянскими, прусскими, древнелатышскими и эстскими племенами и народностями, арабских феодалов — с кавказцами и неграми, испанских монархов — с маврами в XVI веке, словом, примерам несть числа.

В новое время политику расизма, вплоть до геноцида, проводили европейские колонисты в Америке, Австралии, Южной Африке и других частях света.

Расизм неоднократно находил воплощение в погромах надменьшинств. Таковы еврейские погромы в средневековых городах Западной Европы, на Украине в XVII веке, в царской России в XIX столетии и начале XX века, такова греко-армянская резня в Турции во время первой мировой войны и сразу после нее, таковы китайские погромы во многих городах Индонезии в 1965—1966 годах.

Но нигде расизм не имел такого громадного влияния на политику и идеологию, как в фашистской Германии.

(Продолжение следует)

АНДРЕЙ ФАДИН

ВРЕМЯ ВЕЛИЧИЯ

В 1986 году в Нью-Йорке была издана книга эмигранта из СССР Б. Хазанова «Миф Россия. Опыт романтической политологии». В этом несомненно незаурядном и ярком историко-философском эссе (жанре, увы, практически вымершем в советской словесности) наряду с блестящими прорывами к многомерным смыслам русской истории, тонкими наблюдениями над русским национальным характером, нетривиальными размышлениями об изгибах исторической судьбы России есть и мысль, которая может позабавить сегодня шного читателя (особенно советского, если бы эта книга была ему доступна). Приведем ее дословно.

«Еще не угасла, по крайней мере на Западе, надежда на то, что в одно прекрасное утро на вершине (пирамиды власти в СССР — А. Ф.) появится доброжелательный и прагматичный человек в костюме европейского покроя. Он ограничит тотальное планирование, даст свободу директорам промышленных предприятий, предоставит самостоятельность колхозам, восстановит местное самоуправление, умиротворит власть цензуры, усмирит КГБ, отменит преследования интеллигентов, верующих, националистов, разрешит свободный культурный обмен с другими странами и договорится с Америкой о разоружении. Незачем говорить о том, что система отбора и выдвижения руководителей в партии исключает появление реформатора; личности подобного рода элиминируются уже на низких ступенях иерархии. Это тот самый порядок, который охраняет партию от распада. Но это лишь частный случай общего правила. Ибо суть общегосударственного порядка та же самая: она состоит в том, что этот порядок невозможно реформировать. Даже незначительные усовершенствования опасны. Потяните — зашатается колонны. Выньте один кирпичик — только для того, чтобы заменить его другим, и повалится все здание. Порядок есть порядок: или он такой, какой есть, или никакой».

Автор описывает как невообразимую в нынешней России «уличную демонстрацию с флагами, пением песен, сочувствие толпы и растерянность жандармов». Общее представление о непреодолимости культа государства, нерушимой преемственности российского культурно-политического кода, а в целом — о предопределенности нашей исторической судьбы делает его в глазах дело демократической реформации в СССР совершенно безнадежным.

Столь явно несбывшиеся предсказания вызывают желчную улыбку, ведь под вопросом оказывается и вся историческая концепция автора. Не будем однако спешить, ибо почти всеобщее ощущение обратимости и непрочности достигнутых результатов, чувство некоторого провала, исторического водораздела, с которого жизнь может покатиться в разные, быть может и противоположные стороны — делают явно преждевременным вывод о вступлении России в эпоху великих реформ, сравнимых с эпохой иппа или, если копнуть глубже, с реформами 60-х годов прошлого века, последовавших за освобождением крестьян.

За несбывшимися предсказаниями, терзаемого ностальгической рефлексией эмигранта, в действительности встает вопрос слишком серьезный, чтобы легко отвести любые сомнения в нашей внутренней готовности к переменам. Стали ли мы сами другими, смогли ли переступить через свои собственные культурные и поведенческие стереотипы, воспитанные веками авторитарной истории, десятилетиями тоталитаризма — вот вопрос, который становится ключевым для определения культурной стратегии перестройки.

Преобладающий ответ, доносящийся из либерально-интеллигентской среды, гласит: «да, мы — другие, чем были вчера, мы идем вровень с миром по общей культурной дороге».

Увы, этот явно преждевременный и упрощенный, а, быть может, и просто неверный стереотип либерального сознания становится основой и для одностороннего разрешения сложнейшей проблематики отношений России и Запада.

«Мы — такие же!» «Боже, да у них те же проблемы, что и у нас!» «Все мы — люди!» «Человек — везде человек!» Таковы некоторые распространенные мотивы нашей миролюбивой публицистики в последние годы. И это, несомненно, колоссальный шаг вперед своего рода революция по отношению к существовавшим до сих пор стереотипам массового сознания, как здесь в СССР, так и на Западе. Мотивы уподобления себя другому, опирающиеся на глубинные психологические механизмы эмпатии, обладают мощным потенциалом воздействия на эмоциональный мир человека, взывая к биологическим основам внутривидовой солидарности.

Для нас, быть может, это важнее, чем для других, бое открытые обществ: мы ведь чуть не всю свою историю прожили в атмосфере осажденной крепости, в незримой культурной полемике

с внешним миром (причем, чем больше мы из него заимствовали, тем больше была нужда в идеологическом и культурном самоутверждении).

Эта нужда в самоутверждении, остро ощущаемая (хотя и не слишком часто осознаваемая), на протяжении более чем шести веков русской истории производит на исследователя странное впечатление, в ней заключена некоторая загадка.

В самом деле, колоссальная держава с неисчерпаемыми природными и людскими ресурсами, с мощной культурной почвой, сильной религиозной и философской традицией, держава, вполне способная на равных участвовать в мировом научном и культурном процессе — и такое стремление утвердиться, которое выглядело бы совершенно естественно, скажем, у малого народа. Откуда?

В недавно опубликованных воспоминаниях К. Симонова о встречах со Сталиным есть поразительный эпизод. В мае 1947 года Сталин в беседе с писателями подчеркивает первостепенную важность борьбы с духом самоуничтожения, преклонения перед западной культурой, свойственного, по его мнению, советской интеллигенции. Всесильный властитель величайшего в мире государства, только что одержавшего грандиозную победу в войне и культивируемым говорит генералам своего литературного истеблишмента, что интеллигенты «все чувствуют себя несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли себя считать вечными учениками», а зато предлагает бить в эту точку много лет, «уничтожить дух самоуничтожения», «удалбливать» советский патриотизм.

К. Симонов описывает фактически зарождение жестокой и позорной кампании «борьбы с космополитизмом», стоившей стране сотен жизней и десятков тысяч сломанных судеб — и не скрывает своего отвращения к этой кампании. Но и он не сомневается в необходимости вести борьбу с «духом самоуничтожения» (только в другой, цивилизованной форме), «возникшая духовная опасность не была выдумкой», — утверждает он. Оставляя в стороне сталинские резоны, проистекавшие скорее из его технологии власти, заметим, что сама по себе политика культурного самоутверждения легитимизировалась в глазах современников наличием традиционного («вечные ученики») комплекса культурной неполноценности. Происходит явный кризис идентичности, когда поиски своей собственной духовной сущности начинают вести через полемику с иными культурами, своя идентичность (сущность) утверждается за счет их уничтожения. Мотив «мы не хуже других» кажется здесь недостаточно сильным, произвольный выбор делается в пользу мотива «мы — хорошие, мы — самые хорошие, мы — лучше всех», а это по сути логично приводит к выводу, что другие — хуже.

Поразительно, что этот стереотип воспроизводится на совершенно различных культурных и профессиональных уровнях сознания, в различных исторических ситуациях и политических контекстах. Для обыденного сознания он просто очевиден. Интереснее наблюдать его у философов. Вот, например, сравнительно недавняя книга Ю. Давыдова «Этика любви и метафизика своеволия», на страницах которой ведут зримую полемику гуманистическая русская культура (Толстой и Достоевский), — и не (если не антигуманистическая) западная (Шопенгауэр, Ницше, Камю). Конечно, в этой полемике «мы» (русская культура) — надежда и величие человеческого духа, ну, а они . . . Впрочем, все уже сказано в названии.

Устойчивость стереотипа российской исключительности делает тему общности судеб и проблем, разрушения образа врага — особенно актуальной.

Однако акценты в этой теме человеческой, межнациональной эмпатии расставляются, думается, неверно. Ибо формула «мы — такие же как они» в действительности мало что объясняет, ее потенциал — познавательный и политический — ограничен и близок к исчерпанию. Мы — люди. Эта истина самоочевидна, но мы люди, сформированные принципиально различными культурами, следовательно — разные люди. Лишь признав это, уяснив в чем наши (а значит наших культур) принципиальные различия, можно надеяться на действительное понимание и себя, и других. Напротив, продолжение работы умиляющего «конвейера банальностей» таит в себе грозную опасность нового отрыва миролюбивой риторики узкого круга интеллигентов от жестокой социальной реальности, порождающей более чем реальную тень Апокалипсиса. (Вспоминаются межвоенные миролюбивые конгрессы мастеров культуры, встречи и братания немецких и французских фронтовиков в 30-е годы. Полная ангажированность одних — и полное бескорыстие других, мирное журчание речей, гром обличений . . .

А социальная реальность развивалась, неудержимо толкая мир к краю пропасти).

Каждая великая нация несчастна по-своему, каждая великая культура несет в себе свои собственные проклятия. И пока не произойдет самоосознание этих проклятий, пока сама нация не пройдет горьким путем саморефлексии и не сделает ее плоды достоянием своих партнеров по общечеловеческой семье — говорить о понимании друг друга, о взаимопонимании — есть не что иное, как благие, но пустые пожелания.

* * *

Вот почему меня передергивает, когда от лица великой русской литературы делаются заявления о том, что «русский человек — это Всечеловек» (Элем Климов в Голливуде), когда Достоевского перекраивают в социалиста и провозвестника братства народов, а гоголевскую «птицу-тройку» представляют этакой колесницей мира, хотя соседи наши (от поляков до китайцев) придерживаются, наверное, совсем другого мнения.

А нарастающие сегодня умильные всхлипывания вокруг извечного гуманизма великой русской культуры все дальше уводят нас от горького, но единственно спасительного внимания к нашим проклятиям, к тому в нас, что долго не пускало нас в ернуть с я на равных в единую общечеловеческую семью наций, а сегодня заглушает тему в о з в р а щ е н и я апелляцией к комплексу культурной сверхполноценности. Неужели не ясно, что не все в нашем культурном наследии в порядке, что наши отношения с внешним миром были далеки от нормальных, равных отношений «всех со всеми» — отношений взаимообучения и взаимообогащения?

Болезненной для определенного типа сознания представляется проблема заимствований, культурной трансплантации. Не случайно, например, в контексте этого сознания целые направления исторической науки, призванные доказать национальный приоритет во всех возможных сферах деятельности (и первый паровоз, да — у нас, и электралампа, и радиопередача). А что сказать о поколениях архитекторов, которые сами костями ложатся, чтобы доказать все большую и большую древность русских городищ или все больший ареал жизнедеятельности наших пращуров (например, знаменитый академик Б. Рыбаков).

Вспомним и то, какую бурю возмущения у наших «патриотов» вызвала попытка (пусть и не во всем удачная) Олжаса Сулейменова доказать массовые заимствования древнерусского этноса — у своих тюркоязычных соседей. А ведь заимствовали мы много, очень много — и с Запада, и с Востока. Одежду, городской бытовой уклад, военную и производственную организацию, орудия и приемы труда, религию — да мало ли чего еще. В том нет ни беды, ни заслуги, ведь в мире все народы (да и цивилизации) заимствуют друг у друга многочисленные элементы своей материально-вещественной среды и самого национального образа жизни. Уникальны не эти изобретения национального гения (порох, бумага, компас, книгопечатание, коррида, бокс, косой парус, многоголосое пение, орган и т. д.), уникально сочетание автохтонных и заимствованных элементов. Уникально органическое единство различных по происхождению элементов национальной культуры, «переваренных», усвоенных и выстроенных в прочное здание Кельнского собора, храма Покрова-на-Нерли, Ангкорвата.

Но все же не безразлично для характеристики той или иной национальной культуры, какие именно элементы мировой культуры она породила, что берет из нее, а что берет (и насколько органично усваивает) она сама.

Россия, заимствуя много и плодотворно, сторицей «возвращала» в мировую сокровищницу.

Прошло лишь около двухсот лет с начала форсированной европеизации российской субэкумены, и достоянием европейско-американской культуры стала русская литература «золотого века», геометрия Лобачевского, химия Бутачерова и Менделеева, физиология Ивана Павлова. Достоянием мировой культуры стали развитие в России (рожденные на Западе) балет, художественный и поэтический авангардизм рубежа веков.

Но в самом механизме заимствования и последующей жизни инкультурных элементов в нашей национальной среде есть существенные и о многом говорящие особенности. Само заимствование происходит не через широкий межнациональный контакт, как, скажем, между европейскими нациями, а преимущественно (хотя и не исключительно) через некоторое волевое действие государственной власти. К последствиям этого дна отношений общества и государства мы еще вернемся. Здесь же обратим внимание на сам набор заимствованных элементов и механизм их распространения. Как мало влияли они на улучшение качества жизни (выражаясь современным языком), как узок круг распространения этих элементов! Быт народа мало выигрывает от импорта европейских товаров, норм, культурных продуктов, которые распространялись в узком кругу социальной и культурной элиты. Очень мало из того, чем, говоря словами Пушкина:

«... из прихоти обильной
торгует Лондон щепетильный
и по балтийским волнам
за лес и сало возит нам»

вошло в обиход широкого народного мира! Это неслучайно, конечно, ибо заимствования, производимые через в л а с т ь мало были применимы в собственно народной жизни.

Для толщи народной жизни иностранное, внешнее, чужое веками проявлялось прежде всего как идеологический феномен (иная вера, иной политический строй) либо, увы, как военный противник. Отсутствие прямого и регулярного контакта с иными духовными мирами и бытовыми укладами сформировало у нас особый тип восприятия внешнего мира — этноцентризм.

Конечно, не только в России он существует, но для нас он стал в какой-то мере доминантой национальной культуры, массовой психологии. И этой обращенностью на себя успешно пользовались политики со времен Ивана III, взывая к исключительности исторической судьбы, размерам территории, уникальности православия или особым чертам национального характера. «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать», — такова была политическая проекция российского мессианизма, формула, продержавшаяся почти полтысячи лет и вошедшая в гены нашей политической культуры, да и культуры национальной в целом.

Россия — согласно традиционным культурным нормам, да и глубинному нашему ощущению, сформированному этой культурой, — это ведь не просто с т р а н а, одна из многих, не просто равноправный член мировой семьи, нет, Россия — это нечто большее, один из китов, на которых мир держится, одна из основ мироздания, своего рода «новый Израиль», то есть народ, избранный то ли Богом, то ли Историей (в зависимости от времени и идеологической принадлежности верующих в Россию).

И сказать, что наш этноцентризм — лишь вариант имперской идеологии московских (а затем петербургских) царей — было бы непростительным упрощением. Нет, уникальность российской культуры как раз в том, что мессианская идея пронизывала в той или иной мере практически все части политико-идеологического спектра, что в пределе, по замечанию Н. Бердяева, обозначилось линией «от» «третьего Рима» — к третьему Интернационалу», от мессианизма державного — к мессианизму революционному, о б р е к а у щ е м у Россию на освобождение человечества от рабства денег, от диктата товарного производства, от унижительных страданий неравенства.

Предчувствие не просто особой, но судьбоносной для всего мира роли России мы найдем и у Чернышевского, и у Герцена, и у Петра Лаврова. Несомненно мессианские мотивы и у вождей русской революции, которая мыслилась не иначе как начало революции мировой, и, хотя Ленин, в котором здравый смысл у последней черты всегда одерживал верх над идеологическими мифами, сумел вовремя «переложить руль», сама идея революционной избранности во многом нашла свое воплощение в организационных принципах, да и в политике III Интернационала, но самое главное — в имперских основах сталинского государственности.

Увы, смена философско-политических парадигм развития, отказ от немедленного построения храма свободы в пользу «социализма в одной стране» осуществлялись на одной и той же мифологической почве, ибо оборотная сторона идеи судьбоносной мировой роли — противостояние всему миру, коли он, мир, этой роли не приемлет...

Оставим пока в стороне политические мотивы, толкавшие сталинский режим к культурной автаркии, к обрыву внешних связей советского общества. Ведь и само общество, потеряв остатки суверенитета, было фактически экспроприровано государством, перестало быть в какой-либо мере субъектом развития — какие уж тут внешние связи. Но, с другой стороны, сама тотальная этатизация общества в качестве неперемного условия нуждалась в доведении до крайней, предельной остроты внешних противоречий, в обострении внешнеполитической ситуации до чрезвычайного уровня: ведь только чрезвычайный уровень внешней угрозы легитимизировал «чрезвычайное управление» (как характеризуют некоторые специалисты сталинскую Административную Систему). В примерах нет недостатка: раздувание мифа о грядущем третьем походе Атланти на рубеже тридцатых годов, финская война, представленная народу агрессивией маленькой Финляндии (все население которой было едва ли не меньше населения одного Ленинграда), параноидальная шпиономания, ставшая основой не только массовых политических расправ, но и уничтожения иностранных эмигрантов, как правило, беженцев от фашистского террора...

Все это достаточно хорошо известно. Но присмотримся к тому, как органично легла идеологема «социализма в одной стране» в традиционную российскую культурную матрицу, как мягко, точно заняла она пустовавшую в 1917 году экологическую нишу оборонного сознания, как четко вписалась она в давние социально-психологические стереотипы «осажденной крепости»...

тические манипуляции (по крайней мере — не только они), здесь действуют куда более мощные механизмы, заложенные, увы, в самой нашей культуре!

Историк, всматривающийся в нашу недавнюю историю и напряженно ищущий в ней на что опереться, что взять за основу новой гуманистической и демократической идеологической преемственности — с удивлением и досадой видит, что общество не оказало сколь-либо серьезного сопротивления тоталитарному Молоху, не выдвинуло из себя героев и лидеров, действительно идущих в этой борьбе до конца. Фигуры Бухарина и Рыкова, Рютин и Сырцова, Котова и Угланова, и многих других — при всем колоссальном моральном значении их сопротивления — не дают реальной альтернативы того глобального масштаба, который соответствовал бы уровню подступающей катастрофы. Создается впечатление, что общество, завороченное в сущности мифом противостояния миру («в одной стране!») само вручило сталинскому режиму мандат на «чрезвычайное управление», то есть реально — на собственную экспроприацию.

Конечно, и противостояние, и внешние угрозы носили вполне объективный характер. Да и само оборонное сознание как традиция культуры не на пустом месте родилось. Но реальный уровень этих угроз сам по себе не в состоянии был обусловить ту степень государственного безумия, маниакального стремления личности и всего общества раствориться в государственной власти, которого мы достигли в 1930—1940 годы . . .

Культ государственной власти пережил сталинское государство (как пережил до того империю Романовых) и благополучно перешел по наследству как к современному поколению «этакратов», так и ко вполне либеральным реформаторам. Если первое вполне естественно, то второе обнажает некоторые парадоксы отечественной политической культуры. Слышатся уже призывы образовать «чрезвычайные комиссии по борьбе с врагами перестройки», напевающие воспоминания о бессмертных градоначальниках города Глухова («при введении просвещения по возможности избегать кровопролития»). Читательская почта газет полна предложениями создать для решения той или иной проблемы новый госкомитет или министерство (что и делается время от времени).

Что же это за рок такой, если даже вполне свободомыслящие либералы (которые уж должны бы знать, что любые «чрезвычайные комиссии» развиваются по своей логике и существуют не для того, для чего их создавали), даже они готовы в очередной раз ухватиться за рычаг централизованной власти!

Конечно, этому не сложно найти объяснение: будучи меньшинством в инертной и чрезвычайно консервативно настроенной среде (как в аппарате, так и в массах), «партия реформы» ищет опоры во властных отношениях. Однако эрозия самой идеи реформы (да и носителей ее) в этом случае не заставляет себя долго ждать. Траектория Хрущева в этом смысле — прекрасный пример . . .

И здесь мы подходим к вопросу, ради которого, собственно, и пишется эта статья, — вопросу о принципиальном различии человека российского (не русского по национальности, а россиянина по культуре) от человека западного, да, пожалуй, и восточного тоже. Одна из доминант российской культуры (и совсем не только в политическом ее измерении) — это специфические отношения человека и власти, общества, государства. Проблема эта для нас — в отличие от Запада — не просто ключевая, центральная, для нас это проблема — и н т и м н а я, глубоко личностная, определяющая жизненную позицию по большинству иных проблем.

Казалось бы, чего проще: общество порождает из себя государство для выполнения некоторых функций. Даже если эта материализованная функция отчуждается, развивается по собственной логике, встает над обществом, последнее имеет возможность посредством этой устойчивой системы нравственных норм, принятых в обществе, так или иначе, пусть достаточно косвенно регулировать, нормировать эту машину, как это происходило, положим, даже в абсолютных монархиях.

Иное дело, когда сам этос оказывается результатом деятельности единовластного субъекта, навязывающего его всему обществу. А ведь это именно наша российская традиция: власть во многом определяла, что и когда сеять, какие воротники и галстуки носить, брить или не брить бороду, куда и когда ездить, на ком жениться, когда и как хоронить. Именно власть создавала такие условия, когда доносы становились гражданской доблестью, а недоносительство каралось как преступление, когда сын, донесший на своего отца (Павлик Морозов) был объявлен (и до сих пор остается) национальным героем.

Не будем упрощать, Павлик — фигура трагическая, и быть может не до конца понятая нами. Донос на отца был явно результатом острейших моральных и житейских коллизий (говорят, отец избивал жену и детей, хотя это, как и многое в этой истории, скорее легенда). Но важнее другое: этот шаг был государственно санкционирован бунтом против традиционной крестьянской устойчивости жизненного уклада. Этот трагический бунт подрывал попутно и сами моральные основы социальности, ибо разрушил б е з у с л о в -

ны е до той поры социальные связи. Государство (а в перспективе — и его глава) оказывается самым близким родственником, самым авторитетным, надежным и мощным Отцом.

Таким образом власть вторгается в сферу, извечно считавшуюся в подавляющем большинстве обществ исключительно личным, родственным, частным делом.

Заметим при этом, что хотя Павлика Морозова на этот донос на отца (тот не сдал часть зерна), а главное, говорят, выдавал справки сельсовета бежавшим из деревни крестьянам, убил его собственный дед, общество в целом не содрогнулось, оно приняло нового героя как совершенно естественное явление.

Конечно, сказались запуганность и надлом рубежа 20—30-х годов. Но не только, не только . . . Здесь снова сказывается культурный феномен растворения личности во властных отношениях. Личность не суверенна и в ч е м, у нее нет своего домена, где можно было бы укрыться от бесконечных общественных кампаний, от неусыпного глаза, от нормирующего жизнь государства. Последнее является к нему то в роли начальника по работе, то домоуправа или председателя дождом, коменданта общежития, «агитатора», или милиционера, оно контролирует его отношения с ближайшими, с Богом, даже с самим собой (достаточно вспомнить, что самоубийство, до 1917 года являвшееся у г о л о в н ы м п р е с т у п л е н и е м, с конца 20-х годов стало считаться результатом психической болезни, покушавшиеся на самоубийство заключались в психиатрические лечебницы, невзирая на мотивы, сам термин «самоубийство» был исключен из энциклопедий и словарей — «какое может быть самоубийство в стране победившего социализма?»).

В местах заключения и до сих пор попытка самоубийства воспринимается как преступное нарушение режима содержания (!) и карается жестоком образом.

Здесь несомненно прослеживается связь и с проблематикой собственности: государство является верховным собственником всего, что есть у его граждан. Жизнь индивида принадлежит не ему, а государству, попытка лишить себя жизни воспринимается как «госхищение».

Можно спорить о том, что более бесчеловечно — наблюдать (как это делали демократические гуманисты в олстерской тюрьме, не вмешиваясь в плавное наступление голодной смерти ирландских зеков-голодовщиков, (исходя из того, что человек является хозяином собственной жизни), или принудительно накормить его через шланг, наказывая его унижительными мучениями и карцером. Однако и то и другое — несомненно характерно для отношения к правам личности в двух типах культур.

С этой точки зрения в русском языке (как и в языках народов общей с нами судьбы) совершенно закономерно отсутствует понятие *privacy*, то есть понятие неприкосновенного мира личности, ее нерушимого права распоряжаться собой, ограниченного лишь соответствующим правом других. Может показаться, что это — филологический изыск, что наша «частная жизнь» — синоним «*privacy*». Нет, к несчастью, не синоним, ибо нерушимые границы личного достоинства и свободы не зафиксированы у нас юридически и, что самое печальное, почти не признаются ни обществом, ни самой личностью.

В рабочих общежитиях во многих городах страны (а в них живет несколько миллионов граждан) коменданты не разрешают иметь «лишние» вещи, периодически устраивают «осмотры» комнат. Работницы из Набережных Челнов рассказали мне, что им не разрешают иметь замки на шкафах и тумбочках, чтобы обьски могли устраиваться в любое время. «Лишние» — с точки зрения коменданта — вещи выкидываются в коридор. Это — не эксцесс, воспринимается это все как норма. В армии о замках на тумбочках для личных вещей не может быть и речи — там дважды в сутки выворачивают карманы (солдат не должен иметь ничего сверх зафиксированного в уставах набора вещей). Но и этого мало: контроль над поведением и поступками кажется уже недостаточным и недавно военкоматы начали собирать о призвниках сведения типа «допускал ли высказывания религиозного характера?» Тотальный контроль, нивелировка индивидуальностей, «социализация дотла», школа конформизма — вот социальная функция подобной организации армейской жизни. Впрочем, не только армейской . . .

Мы покорно пишем в анкетах ответы на тысячи вопросов, которые совершенно не должны интересовать государство («Были ли на оккупированной территории в годы войны?» «Где похоронены родители?»), нас это не возмущает, это — н о р м а, норма отношений человека с государством.

«Мы рождены,

Чтоб Кафку сделать былью» . . . — гласит фольклорное изречение 70-х.

От колыбели до могилы россиянин живет под властью, она пронизывает всю его жизнь, так продолжалось веками . . .

Это может показаться преувеличением, но вспомним как при помощи кнута и пушек (!) внедрялся картофель в России, как внедрялось (опять-таки при помощи кнута) брадобритие, как о б я з ы -

в а л и крестьян при Петре сеять лен и коноплю, а потом з а с т а в л я л и выделять ненужный им широкий холст — и многое, многое другое. Почти каждый шаг нашего просвещения и прогресса сопровождался усилением (если это было возможным по сравнению с крепостным правом) или видоизменением несвободы: первые мануфактуры — крепостные, первые театры — крепостные. И при этом главным субъектом любых перемен оказывается государственная власть. Реформ не добиваются снизу, они приходят сверху, их принимают как благодать или игнорируют, или учатся обходить их, но это всегда нечто как бы климатическое, независящее от человека. И это — не только история: перестройка ведь тоже началась совсем не под напором снизу.

Как это началось, когда? Я думаю, что равно убедительных ответов, объяснительных схем, теорий можно было бы привести не менее десятка. Инвариантным будет лишь одно — уникальная по всеохватности роль государственной власти в нашей истории и культуре.

Этатизм, культ государственной власти, пронизывает не только нашу историческую практику, но и имеет богатейшую мыслительную традицию, включающую, например, переписку Ивана Грозного с А. Курбским, писания дворянского публициста XVI века Ивана Пересветова, письма и указы Петра I и Екатерины II, политические проекты декабристов (в особенности Павла Пестеля), публицистику П. Ткачева и Л. Тихомирова. Уже из одного этого перечисления можно заключить об огромном значении, которое придавали сильной централизованной власти как те, кто проводил общественные преобразования «сверху», так и те, кто их только планировал «снизу».

Надежды на преобразующую роль государственной власти, равно свойственные и «революционеру на троне» Петру I, и революционеру в мундире П. Пестелю, и революционеру-заговорщику П. Ткачеву понятны: масштабы исторических задач громадны, а опереться практически не на кого. Одни классы общества слабо оформлены и изначально связаны с государством, отчасти даже с о з д а н ы им (дворянство), другие — пассивны, расплывлены по общинам, живущим «в себе» и имеют лишь один способ участия в общественной жизни — через то же государство; устойчивых политических партий российская традиция не знает, сама общественная ткань вне государственного корсета расплывается как «калужское тесто» (любимое выражение историков «государственной школы»).

«Автоматизм» естественно-исторического процесса не устраивает ни реформаторов, ни революционеров: ведь чем дальше планируется прыжок, чем круче преобразования — тем больше потребная для них концентрация власти. Причем жесткость императива преобразований приходит каждый раз как бы извне национального социума: в общественном сознании постоянно довлеет внешняя угроза (реальная или мнимая), необходимость «догнать или подчиниться», утвердиться на равных — или стать зависимым. Великие бедствия, обрушивающиеся извне, ужасные войны, оставшиеся в нашей исторической памяти (то, чего мы не сможем забыть, даже если бы очень захотели, американцы, например, не смогут, наверное, и вообразить) породили явление, которое можно было бы охарактеризовать как культ национальной безопасности или «комплекс 1941 года».

Кровавый кошмар нашествий, ставивших над вопросом само существование народа, сделал приемлемой для национального сознания л ю б у ю цену внешней безопасности. В том числе — и цену личных и гражданских свобод, цену суверенитета общества. «Когда вопрос стоит о выживании, приходится многим жертвовать...»

Однако столь стройной картине, рисуемой некоторыми историческими публицистами (А. Проханов, Ф. Нестеров), сопротивляются проклятые вопросы нашей культуры: были ли эти жертвы добровольны? Можно ли пожертвовать личными свободами, не отказавшись одновременно и от гражданского достоинства? И, наконец, может ли выжить сама личность, отказавшись от достоинства, а культура — существовать без личности?

Принято считать, что ограничения личных свобод в поведенческой сфере обратили русскую культуру к «росту вовнутрь», обрекли ее на воспарения к вершинам духовности. Однако внутренняя независимость не может не искать выхода в жизнь. Невозможно предстать себе Пушкина без стремления разделить свой мир с окружающими. Без минимума личной независимости, без «двух непоротых поколений» не было бы и самого Пушкина... Но стесненные личной свободы не проходят даром ни для кого: несвобода внешняя прорастает несвободой внутренней, а та ищет компенсации в соборном величии — национальном, государственном, имперском.

Что толкало Пушкина к написанию «Бородинской годовщины», что заставляло радоваться взятию Варшавы (как будто факт, что 50 миллионов сильнее, чем 5 миллионов, может вызвать радость?) «Поэт империи и свободы» смог удивительно органично соединить в себе преклонение перед Медным всадником — и сострадание к попираемому им человеку. Эта органичность не могла сохраняться

долго: искушение величием власти противостояло личностному бытию все больше и больше. Не в силах отринуть, игнорировать ни одно из этих начал, в их внутренней полемике искали смысл предназначения человека Достоевский и Толстой. Однако сами эти начала остались полюсами русской культуры, сама их выделенность, драматизм взаимопереплетения и противостояния стали едва ли не ее главными отличительными чертами.

И все же в массовом сознании волны культа власти оказывались длиннее, мощнее, глубже, личностное начало уходило на периферию общественной жизни. И поскольку культура — это «все во всем», то наше «имперское сознание» как-то незаметно, но очень органично переплавляет культ национальной безопасности — в культ госбезопасности, а «комплекс 1941 года» — в уверенность, что ради безопасности своих границ можно и необходимо держать сотни тысяч молодых здоровых ребят в чужих пределах, даже если это не очень нравится их обитателям.

Когда 20 лет назад тысячи наших ребят, совершенно не искушенных ни в политике, ни просто в жизни, повинувшись властному, но невразумительно обоснованному приказу, пересекли границы Чехословакии (которую их с детства приучали считать другом и союзником), то главным аргументом политработников, пытавшихся восстановить давшую течь идеологическую герметичность, убить саму возможность сомнений в справедливости приказанного делать, были даже не пресловутый тезис о «защите социализма», нечто гораздо более действенное: «если не мы — то они». Ребятам из первого эшелона говорили, что уже под Прагой они могут столкнуться с западно-германскими и американскими танками. Как вспоминают участники той акции, этот аргумент действовал безотказно. Увы, не только в армии. И не только тогда, 20 лет назад.

Раз за разом, с убийственной повторяемостью навязчивая магия оборонного сознания — образ осажденной крепости — парализует нашу способность мыслить, сомневаться, искать альтернативные решения. Такое впечатление, что призрак всеобщего заговора, противостояния целому миру (а это оборотная сторона имперской в сущности идеи нашей исторической избранности) ведет нас, как гаммельнский крысолов, в пучину трагических ошибок — нравственных, политических, военных, тех ошибок, которые сегодня, пожалуй, страшнее иных преступлений...

Прошло немногим более десяти лет и вот уже молодой дембель в купе вагона дальнего следования, прихлебывая чай, спокойно объясняет мне «про Афган», что «если бы не мы, то они», а значит, значит —

«Наш паровоз вперед лети,
В Кабуле остановка,
Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка».

Так напевали мои сверстники в начале 80-х годов, облекая свой поколенческий горько-иронический фольклор в форму легендарной песни времен гражданской войны.

Конечно, историческая судьба, расклад мировых сил многое определяют.

Но я говорю не о политической рациональности, ибо геополитика подчас жестко диктует великой державе малоприятные шаги (здесь мы с американцами, увы, квиты), и даже не о структуре массового сознания, готового оправдать любые действия своей власти, если только они зывают к комплексу безопасности (в этом мы тоже не исключение). Говорю о нашей готовности без критики внимать тревожным трубам и ж е р т в о в а т ь жизнями своих детей, о том, как бледнеет в нашем сознании значение человеческой жизни перед любым абсурдом, если на нем лежит отблеск государственного величия. (Куда девалась наша всецеловечность, когда речь шла о злополучном «боинге»? Почему семь лет молчали о потерях в афганской войне, о пленных? О погибших с той стороны, которых сначала называли басмачами, бандитами, а теперь уважительно — «вооруженной оппозицией»?)

И вот, когда на одну чашу весов ложится освященное сознанием исторической избранности б р е м я в е л и ч и я, а на другую — тысячи индивидуальных человеческих жизней, которыми химера величия искормлена, вот тут и наступает момент истины, время выбора основополагающих ценностей нашего дальнейшего национального бытия в мире. Выбор в пользу державного величия сегодня — это выбор в пользу ничтожной цены человеческой жизни, две эти ценности связаны кровью, они неразрывны во взаимоотношении.

Вернуться в мир Россией означает преодолеть традицию противостояния России — миру. Это — единственный путь сделать индивидуальную жизнь личности — главной ценностью жизни соборной. Но для этого надо освободиться от магии «оборонного сознания»; выйти из «осажденной крепости», стряхнуть с себя культ власти. Если это возможно...

Пока, увы, не государство существует для нас, а мы все еще для государства. Не вчера это началось. Закончится ли нами?

Вы нам пишете

СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ ОПРОВЕРЖЕНИЙ

С глубоким волнением и радостью (свершилось!) прочел в № 7 (88 г.) статью Артемия Осина «Можно ли добиться мира оружием?».

На мой взгляд, эта одна из нужнейших публикаций последнего времени во всей нашей прессе (статью А. Нуйкина, увы, не довелось найти). Вы сделали великое Дело, поступили мужественно, отдав страницы своего журнала под столь рискованную статью. Рискованную, потому что предвижу крупнокалиберный огонь и яростные атаки со стороны ВБК (ВИК) (ВБК — военно-бюрократический комплекс, ВИК — военно-идеологический комплекс) и его единомышленников.

«Сегодня у нас Горбачев, а завтра опять Брежнев. Высадись где-нибудь в Коктебеле, допустим, отец и учитель, как в свое время Наполеон с Эльбы... Я боюсь, что случись такое сейчас со Сталиным, окажись он живым... на руках внесли бы в Кремль» («Огонек», № 35, с. 14). К сожалению, автор приведенных слов — покойный Виктор Некрасов прав. Сталинские последыши живы и чрезвычайно многочисленны. Именно они составляют большинство в ВБК (ВИК). И именно от них следует ожидать главных опровержений.

С глубочайшим уважением и искренней симпатией.

Александр Луцкий,
социолог Гостелерадио и, кстати,
ст. лейтенант запаса

КОМУ ВЫГОДНО!

Это известное латинское изречение — КОМУ ВЫГОДНО? — особенно уместно использовать сегодня, в наши дни, когда не сразу видно, какие политические и социальные группы разворачивают свою бурную деятельность. Всем должно быть четко понятно и ясно, что в политике не так важно, кто отстаивает те или иные взгляды, требования, а важно то, кому выгодны эти взгляды и требования.

Например, кому выгодно убедить наш народ и в первую очередь молодежь, что угроза войны сегодня — это сказки военных?

Кому выгодно, чтобы молодежь не знала и не верила в вывод В. И. Ленина о том, что переход от капитализма к коммунизму — есть целая историческая эпоха. Пока она не закончится,

у эксплуататоров неизбежно остается надежда на реставрацию, а эта надежда превращается в попытки реставрации. И после первого серьезного поражения свергнутые эксплуататоры... с удесyтеренной энергией, с бешеной страстью, с ненавистью, возросшей во сто крат, бросаются в бой за возвращение отнятого рая...

Кому выгодно, чтобы народ и молодежь забыли горькие уроки начала Великой Отечественной войны, когда в результате показного дружелюбия СССР к фашистской Германии, оформленного договором о дружбе и границах 28.09.1939 года, заключения идеологического перемирия, выразившегося в прекращении антифашистской пропаганды в советских средствах массовой информации, было дезориентировано общественное мнение и ослаблена политическая бдительность нашего народа, руководителей нашей страны, в том числе и в Вооруженных Силах?

Кому выгодно выдавать активную и миролюбивую направленность внешней политики СССР за нечто полностью исключющее угрозу агрессии и вероятность возникновения войн?

Артемий Осин в своей статье «Можно ли добиться мира оружием?» («Родник» № 7 — 88 г., стр. 52—58), видимо, основываясь на том, что достигнута договоренность лишь о трехпроцентном сокращении ядерных вооружений, делает «исторический вывод» — **НО СЕЙЧАС-ТО ИДЕТ ОБРАТНОЕ, УГРОЗА СЛАБЕЕТ.**

Так что, по этому поводу можно погружаться в состояние эйфории и благодушия?

Кому выгодно вводить в заблуждение молодежь, что такие понятия, как долг, классовое чутье (как «остроумно» уточнил Артемий Осин КОГО-ТО ВЫНЮХИВАТЬ), ненависть к врагам — устарели?

Кому выгодно, используя недостатки, которые имеются в армии и в подготовке молодежи к военной службе, убедить народ, и в первую очередь юношей, в том, что начальная военная подготовка сегодня в средних учебных заведениях, а также военные кафедры по подготовке офицеров в ВУЗах не нужны?

Артемий Осин, проявляя незаурядные телепатические способности, читает мысли офицеров Советской Армии. Он пишет: «...У каждого офицера где-то в подсознании сидит

следующее: профессия и жизнь уже определились, а вдруг сокращение? Определяться заново? А найду ли я себя «на гражданке»? Нет, не надо изменений».

Полагаю, что скорее Артемий Осин боится быть призванным в армию для выполнения конституционного долга, чем любой офицер опасается, сможет ли он найти себя «на гражданке».

И слава богу (говоря словами Артемия Осина), что не все писатели, как он, хотят драться против идеи построения коммунизма и увести от этой идеи нашу молодежь.

Да, кому-то выгодно смешать честных трудящихся и тунеядцев, воров, бездельников, хапуг в общее понятие «народ», «люди», а потом выдвинуть Программу, что советская власть создавалась для того, чтобы осуществить стремление народа, людей к свободе, благосостоянию...

Кому же все это выгодно?

Честным и добросовестным рабочим это выгодно?

Честным и добросовестным колхозникам это выгодно?

Честным и добросовестным учителям, врачам, инженерам, служащим, писателям, офицерам, и т. д. это выгодно?

Или это выгодно демагогам, спекулянтам, рвачам, лентяям, всем тем, кто живет за чужой счет?

Да, им выгодно смешать всех в одну кучу, в понятия «народ», бесклассовую, однородную массу и от имени этого народа, используя недостатки в экономике, в армии, в партии, в руководстве, дурачить, обманывать, вводить в заблуждение людей, и, в первую очередь, молодежь. Нет! Не бывать этому! Власть должна принадлежать честным трудящимся. Блага должны в первую очередь предоставляться честным производителям этих благ.

Ну а забота об обороне и подготовка к защите Родины должна быть обязанностью всех без исключения граждан нашей страны, в том числе и тех, кто обладает творческими способностями (о которых так печется Артемий Осин, боясь, что за два года службы в армии этот божий дар навечно угаснет в «великих» головах избранных, особенных, в данном случае уже на ступень выше массы остальных молодых ребят, которые, вероятнее всего, простого происхождения).

Так кому же это выгодно?

О ПРИВИЛЕГИЯХ

До сих пор ни одно постановление, ни одна акция руководства не затронула материальных интересов государственного и партийного аппарата, облеченного властью и привилегиями. В то время как повседневная жизнь «простого люда» меняется преимущественно в сторону ухудшения (инфляция, рост цен, ухудшение продуктов питания, исчезновение товаров, загрязнение среды, эксплуатация труда тысяч людей во время, предназначенное для отдыха и т. д.), органы власти и люди, «сидящие на дефиците», приобретают все большую силу влияния.

Часто люди, «сидящие на товарах и услугах повышенного спроса», сами предлагают, навязывают их «власть имущим», чтобы оправдать собственное злоупотребление дефицитом, чтобы создать круговую поруку, зависимость между органами, у которых в руках бразды правления, и теми, у кого в руках дефицит.

Создаются неписанные правила, по которым отдельные посты, управленческие учреждения, конференции, съезды из года в год ставятся на особое снабжение и обслуживание. Человек, вновь занимающий служебное место, ничего не требуя, начинает получать услуги от подчиненных ему организаций, товарных точек, отдельных лиц и тем самым принимает на себя обязанность быть благодарным всем, кто радеет о его благополучии.

Не пришла ли пора законодательным образом сделать четкое разграничение понятий.

Во всяком случае, отказ от должностных привилегий необходимо сделать обязательным условием членства в рядах КПСС и ВЛКСМ.

Я не считаю, что все, поголовно, руководители работают не ради дела, а ради своего места в этом деле. Однако в жизни мне не повезло встретиться с «руководителем своей мечты»!

Может быть, в настоящее время вовсе не существует людей, занимающих высокие посты, но добровольно отказавшихся от особых буфетов, спец. квартир, мебели и прочих товаров, идущих по особым каналам, от билетов на самолет в обход общей очереди (например, для дочурки на летний отдых) и т. п., всегда следующих примеру дорогого нам человека В. И. Ленина.

Меня поразила своей яркостью и злободневностью запись из дневника Семёна Калабалина, любимого ученика А. С. Макаренки. «... Заявили мне, что будут делать все, но только без командиров, потому что командирам всегда блат в жратве и барахле.

— Это не командиры, — говорил я им, — а жулики. Командир, как я понимаю его, — это старший, вами же уполномоченный товарищ. Он не ест,

пока не накормит всех. Он не наденет штанов, пока все его подчиненные не будут в штанах...» («Огонек» № 16—1988).

Если вам известны руководители с таким горячим сердцем, с таким обостренным чувством справедливости, напишите о них в журнале.

Юрий Елизаров,
инженер

КАКОЙ ТЕКСТ НАСТОЯЩИЙ!

В последнее время я изучаю творчество Вилиса Лациса. И в связи с этим у меня возник вопрос. Многие его произведения были созданы в период буржуазной Латвии, но лишь в «Семье Зиттаров» Лацис пишет, что он переписал книгу. Относится ли это к остальным? Если да, то с чем это может быть связано? Не повлияла ли на это сталинская эпоха? Ведь люди, читавшие его повести и романы до и после установления Советской власти в Латвии, отмечали в них значительную разницу.

Да и сейчас, когда читаешь его романы, невольно задумываешься: неужели буржуазная цензура могла их свободно пропускать. Я понимаю, Лацис — видный государственный и политический деятель и, возможно, не принято говорить об этом. Но если оно и было так, то не вернуться ли к первоначальному написанию произведений?

Лацис все же классик латышской литературы, и интерес к его творчеству в ближайшее время обязательно возрастет в связи с экранизацией «Семьи Зиттаров». Даже в энциклопедии «Советская Латвия» вопрос о творчестве Лациса освещен объективно.

Евгений Цуканов,
врач

«КНЯЗЬ МЫШКИН»

Спасибо за воспоминания о замечательном художнике и очень своеобразном человеке — Янисе Паулюке.

Однажды я «подвернулась ему под руку». Было так. Я возвращалась домой по улице Кирова. Навстречу шел пожилой мужчина высокого роста, небрежно одетый. Увидев меня, он вдруг стремительно подошел и с каким-то эмоциональным воодушевлением представился:

— Я князь Мышкин!

— Значит, идиот! — тут же бодро, даже весело ответила я.

Он обрадовался, видимо тому, что я знаю, о ком идет речь.

— Побольше бы таких идиотов! — быстро заговорил незнакомец, — Это, по-моему, своего рода русский Дон-Кихот! Как нам не хватает рыцарей милосердия!..

Он говорил и одновременно целовал мои руки...

— Вы согласны, согласны со мной?

— Да, да, конечно! — поспешила я согласиться. Откровенно говоря, несмотря на все расположение к этому человеку, мне хотелось поскорее освободиться от назойливого незнакомца, тем более, что он мне казался пьяным. Теперь-то я знаю, что это было не так.

— Спасибо вам, спасибо! — повторял он. «Наверно, это очень одинокий человек», — подумала я.

Мы были уже у подъезда моего дома, и это было для меня поводом расстаться. Спутник же хотел продолжить беседу и стал напрашиваться в гости. Но я осталась непреклонной.

— До свиданья, князь Мышкин! — сказала я шутя и открыла дверь подъезда. Одновременно со мной вошла женщина, жившая в этом же доме. Под впечатлением происшедшего я обратилась к ней смеясь: «Какой странный человек! Впервые видит меня и целует руки...»

Женщина, однако, не поддержала меня, даже не улыбнулась и довольно сурово спросила:

— А вы знаете, кто этот человек?

— Нет, не знаю. Я его вижу впервые.

— Это наш замечательный художник Паулюк!

Вот как! Не раз я вспоминаю об этой встрече. Можно сказать, повезло мне. Жизнь предоставила возможность побеседовать, ближе познакомиться с таким необыкновенным человеком, которому в наше время дефицита человечности так импонировал обаятельный образ одного из главных персонажей Достоевского, человека глубоких чувств и необычайной доброты.

Вскоре я увидела Паулюка на экране телевизора в его мастерской, в передаче, посвященной художнику. Все было близко, понятно, интересно. Я, конечно, узнала его, хотя выражение лица его было совсем другим, я бы сказала, хмурым, а тогда, при встрече, им, видимо, владело какое-то, не знаю чем навеянное радостное чувство жизнелюбия. Лицо его было такое просветленное, глаза такие добрые! Простить себе не могу, что оборвала возможность общения с человеком, который, по-моему, всегда обладал мужеством быть самим собой.

Татьяна Радзинь

Рига: двадцатые — тридцатые годы



Центральный рынок.



Потребление некоторых лакомств и продовольственных товаров в 1927—1931 г.г.

В среднем на одного жителя в год (кг)

	Кофе	Чай	Какао	Сахар
Латвия	0,08	0,05	0,4	24,5
Эстония	—	—	—	22,7
Литва	—	—	—	11,0
Польша	0,2	0,06	0,2	11,3
СССР	0,006	—	0,026	7,3
Финляндия	5,2	0,04	1	26,7
Дания	8,8	0,18	0,8	49,8
Германия	2,5	0,09	1,2	28,1

Внешняя торговля на 1 жителя (в латах *)

	Импорт			Экспорт		
	1930	1931	1932	1930	1931	1932
Латвия	156	93	45	131	86	51
Эстония	122	76	45	120	88	52
Литва	69	61	37	74	60	41
Польша [с Данцигом]	42	26	15	45	33	20
СССР	17	19	11	17	4	9
Финляндия	186	114	75	194	149	100
Норвегия	527	399	227	337	215	187
Швеция	380	308	182	355	233	149
Дания	655	521	301	603	466	299
Германия	202	130	90	234	186	110

* Лат: денежная единица Латвийской денежной системы, делится на 100 сантимов. Латвийская денежная система имеет золотую основу. 1 лат содержит 0,2903226 г чистого золота. [Латышский энциклопедический словарь, Рига, 1934—1935 г.г.]

Мясопродукты (в кг)

	Год	На 1 жителя
Латвия	1930	63
Эстония	1930/31	56
СССР	1930	20
СССР	1933	16
Германия	1930	50
Дания	1931	171
Англия	1931/32	20

Деятельность транспортных предприятий в Европе

	Число почтовых посылок, в 1930 г. на 1 жителя	Число телефонных абонентов в 1931 г. на 1000 жителей	На сколько жителей приходится 1 абонент радио в 1932—33 гг.
Латвия	40	26	41
Эстония	40	14	100
Литва	31	6	193
Польша	31	6	108
СССР	7	2,4	—
Финляндия	28	36	—
Норвегия	—	54	67
Швеция	83	87	10
Дания	79	99	7
Германия	100	50	15

ЛАТЫШСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ, РИГА, 1934—1935 ГГ. ИЗДАТЕЛЬСТВО А. ГУЛЬБИСА



Кафе О. Шварца.



Кафе О. Шварца, Каминный зал.

Рига: двадцатые — тридцатые годы



Магазин садоводства К. Эрдманиса на углу ул. Базницас и Элизабетес.



Транспорт для почтовых перевозок.



Парикмахерская на углу улицы Бривибас.



Автомобили производства фабрики «Вайрогс».

ОТЧЕТ О КОМАНДИРОВКЕ

Сначала как бы сухие цифры. С 17 по 22 октября 1988 года в Ленинграде произошла Всесоюзная научно-практическая конференция «Молодая культура», организованная Ленинградским отделением Советского фонда культуры, Центром гуманитарных исследований Фонда молодежной инициативы, Ленинградским обкомом ВЛКСМ, Ленинградским государственным институтом Театра, Музыки и Кинематографии им. Н. К. Черкасова. Спонсором конференции выступал Центр гуманитарных исследований при содействии ЦНТТМ «Астрон». Проходила конференция в Зеленом зале ЛГИТМиКа, члены Совета молодых ученых которого (О. Хрусталева и С. Добротворский) ответственны как за тематику конференции, так и за приглашение конкретных ее участников.

Шесть дней, семь тематических разделов. «Новая литература»: А. Драгомощенко (Ленинград), Д. Волчек (Л), Т. Щербина (Москва), А. Левкин (Рига), О. Хрусталева (Л), В. Руднев (Р), Б. Останин (Л). «Киноглаз из подполья»: С. Добротворский (Л), И. Алейников (М), Б. Юхананов (М), Е. Чорба (М), Д. Баранов (Л), В. Драпкин (Л). «Музыка: текст и контекст»: А. Юсфин (Л), А. Гуницкий (Л), Л. Березовчук (Л), П. Трублаевич (Л), И. Филатова (М). «Театр как универсальный медиатор»: Ю. Смирнов-Несвицкий (Л), А. Карась (М), Б. Юхананов, С. Островский (М), Е. Ваулина (Л). «Новое изобразительное искусство»: М. Трофименков (Л), П. Герасименко (Л), Т. Новиков (Л), Н. Бриллинг (М), Е. Деготь (М). «Журналы и методология»: А. Бурлака (Л), Д. Волчек, А. Сержант (Р), А. Соколянский (М), С. Островский, Е. Деготь, С. Добротворский, О. Абрамович (Л), М. Блазер (Л), Е. Кузнецова (Л), Л. Попов (Л), Л. Березовчук, А. Левкин, Г. А. Праздников (Л), Ю. Смирнов-Несвицкий, О. Хрусталева. Кроме этого, в рамках конференции прошли поэтический вечер, показ видеофильмов, фильмов «параллельного кино», спектакль «Ноль-ноль» театра, а закончилась конференция записью программы Ленинградского телевидения «Авансцена».

Смысл конференции (цитируя буклетик): «Одна из важнейших задач современной теории состоит в синхронизации культурных процессов и научного знания о них. Существующая методология уже не может с необходимой полнотой охарактеризовать наличные формы художественной деятельности, которая уже сейчас наводит на мысль не только о необычности социального-психологических истоков, но и о новизне собственно эстетического результата» (С. Добротворский).

Иными словами, конференция была одним из первых коллективных действий, где нынешний авангард выступал не замкнуто (как в случае фестивалей), но в контакте с людьми, профессионально желающими разобраться с реальными сутью и природой движения. Практики имели возможность ощутить отношения к себе теоретиков, теоретики же получили шанс почувствовать строй мышления практиков. Другое дело, что конференция составлялась в марте, а тогда одной из предполагаемых ее целей была консолидация теперешнего авангарда. За полгода, однако, многое переменилось. Но об этом — речь ниже.

Здесь не будет производиться пересказ шести дней конференции, просто несколько выводов, образовавшихся как бы само собой к концу ее работы.

Главный результат вот какой. Сам факт явной активности авангарда в последнее время все же не мог служить ответом на вопрос: органичен ли теперешний авангард или развитие его иллюзорно, является следствием некоего коллективного резонанса, родом массового психоза! Теперь понятно — он органичен. Во-первых, просто потому, что погрязшие в коллективном психозе профи постарались бы в подобной ситуации отделиться, сплотиться и приступить к агрессивной самозащите — ни признака чего-либо подобного. Искренний взаимный интерес, украшенный пониманием друг друга. Во-вторых же — при изрядном разнообразии точек зрения всех выступавших, практики говорили об одном, вплоть до совпадения чисто технологических приемов: независимо от рода представляемого ими искусства.

Кроме того, стало понятно, что авангард не является неким технологическим цехом искусства, снабжающим техническими разработками представителей цехов более традиционных. Нет, это отдельная зона со свойственным ей сознанием (как художественным, так и «человеческим»), вне которой никакие технологии не применимы. Хорошо это или плохо, а так есть.

Теперь о нынешнем состоянии авангарда. Возникнув как искусство, противопоставившее себя искусству официальному

(цитируя интервью О. Хрусталевой журналистке из Le Nouvel Observateur), авангард быстро обнаружил способность саморазвития, способность создать свой, новый язык. Развиваясь на территории андерграунда, самиздатских журналов, искусства не зрительского, заведомо не коммерческого, авангард (помимо собственно художественных текстов и концепций) породил весьма мощную среду из практиков, критиков и сочувствующих. (Да, возникает естественный вопрос о полноте представления авангарда на конференции. Ответить можно так: поскольку собравшимся в Ленинграде практикам известны и знакомы остальные (не присутствовавшие) — выборка представляется вполне достоверной.) Так вот, примером такой среды является, хотя бы, Свободный университет, начавший свою работу в Ленинграде осенью 1988 года. Университет являет собой федерацию отдельных мастерских, большинство руководителей которых участвовали в конференции. Несмотря на то, что университет платный, содержится на средства учащихся и не обещает пока никаких гарантий признания его диплома официальными учреждениями, конкурс в мастерские доходил до пяти человек на место, причем учиться в нем желают люди и из университета и из того же ЛГИТМиКа.

Здесь возникает очень серьезный вопрос. Да, авангард органичен, это зона со своим сознанием, но вот является ли это изменение сознания долговременным, жизнеспособным надолго, либо произошел единовременный скачок (как это было в начале века), и впереди нас ждет долгое стабильное существование на достигнутом уровне! Обостряя ситуацию, можно высказать, что есть дилемма: либо внутренняя свобода, либо возвращение в прежнее состояние с неким пряником в руках — который и съест-то нельзя, а только раскрасить и повесить на стенку. Теперь, собственно, этого знать нельзя.

Но можно ответить на смежный вопрос. О границах между авангардом и внешней средой. Они, на самом деле, не определены вполне — чему приметой и отсутствию прочного термина (единого, а не: «авангард», «молодая культура», «новая культура»). Но стало, например, понятно, что рок к авангардной культуре уже не имеет отношения (а еще недавно — имел), что его место в ряду остальных родов искусств займет (а что не занял раньше — уже даже странно) «академический музыкальный авангард». Ситуация изменяется и изменяется на глазах: на третий день конференции не-практики предлагали оформить ее неким заключительным документом, меморандумом, который совместно составили бы практики и / или теоретики. Конечно, собравшимся вместе практикам сегодня в головы подобная мысль прийти уже не могла. Они могли бы сделать совместный художественный текст. Ну так это происходит и так. А к завершению конференции ненужность какого-нибудь меморандума была очевидной уже для всех. И ощущение «что состоялось» образовалось естественным образом.

По поводу нынешнего состояния авангарда. Стало понятно, что закончился второй период его существования. (Первый — от противопоставления официозу к само-существованию. Второй — наработанные тексты сформировали новое художественное сознание.) Далее уже не тексты будут формировать сознание, но сознание — порождать тексты. Понятно, что часть участников второго этапа (вероятно большая) будет стремиться расширить свою аудиторию, озаботится (уже, впрочем) менеджментом (как рокеры — им не в обиду, это — их функция), другая же часть подключится, наконец, к процессам европейского авангарда, сохраняя при этом весьма зрелую индивидуальность. Более-менее понятно какие особенности будущих текстов будут определять их принадлежность к тому или иному варианту жизни. (Можно сказать в скобках: тексты, являющиеся некими кодами — с присущей кодам инвариантностью их восприятия, и тексты, остающиеся лишь текстами — требующими субъективной интерпретации. Как пример: соц-арт, который работая в обиходной среде, сумел выйти на уровень кодов и тем самым — как это ни парадоксально — ушел из под социума.) Кроме того, все согласилось, что время стѣба кончилось. Кроме того, в разговорах возник (со стороны теоретиков) термин «универсализм» — как замена «пост-модернизму». Кроме того, многие обратили внимание на продолжающееся сближение между принципами, управляющими написанием текстов и самими текстами — предполагающее их скорое соединение в нечто одно.

И, учитывая сказанное выше, описывать саму атмосферу этих шести дней решительно не представляется необходимым.

1
ВИКТОРС ИВБУЛИС

ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ — ЧТО ЭТО?

«Вопросы литературы» начали очень назревшую дискуссию о теории литературы. Один из ее участников — А. В. Михайлов на вопрос о том, как оценивать уровень нашей теории, отвечает совершенно однозначно: «Я ничуть не сомневаюсь, что его надо оценивать очень высоко; я восхищаюсь достижениями наших теоретиков литературы и вполне отчетливо вижу, что они во многом идут впереди мировой науки».

Возможно. Только знаем ли мы, что такое «мировая наука» по отношению к нашему предмету? Я в этом сомневаюсь. Один из путей дальнейшего развития, если я правильно понимаю, — разобраться в нашем «собственном доме», углубиться в то, что происходит в других. Если судить по материалам литературных журналов и книгам, изданным во Франции, ФРГ, США, Англии и других странах в последние 10—15 лет, в этих странах происходит нечто совершенно невиданное в истории эстетической мысли: нет больше или менее единой литературоведческой науки, в центре которой еще сравнительно недавно стояли такие понятия как «образ», «характер», «сюжет», «композиция», «художественное произведение», «автор» как неоспоримый demiurge — создатель произведения. Эти и другие термины стали редко употребляемыми или изменилось их значение. Почти ничего не слышно в последние годы даже о «потоке сознания». Забыты или почти забыты еще недавние авторитеты (такие, как Томас Стернз Элиот). Западная теория литературы полностью разделена на школы, и этот факт вынуждены признать все, включая западных литературоведов-марксистов. «Между теоретиками литературы и антитеоретиками внутри самого лагеря теоретиков разногласия — больше уже не вопрос о том, могут ли они прийти к соглашению, а могут ли они даже не соглашаться. Со временем нападков на стабильность авторов и текстов как хранилищ значения, кажется, что утратилось общая основа между школами литературных критиков, и что они распадаются под действием центробежной силы на взаимно непостижимые салоны, каждый из которых поддерживает ошеломляющий разговор на наречии, которое автоматически исключает все остальные».

Действительно, мало общего между новой, или философской, герменевтикой, психоаналитической, мифологической и

все еще существующей структуралистической теоретической критикой. Однако основными виновниками фактического распада всей системы литературно-теоретических ценностей, вне всякого сомнения, являются постструктуралисты. Не зря их во всех классификациях подходов к анализу текста упоминают первыми.

Разнообразные философские системы тысячелетиями основывались на том, что в мире существует что-то стабильное, какая-то истинная действительность. Для одних это была материя, для других — идеи, дух. Но во всех случаях, как в философии, так и в искусстве какая-то «модель» была первичной, а ее «воспроизведение» — вторичными. Упрощая эту мысль, можно сказать: романтики «воспроизводили» отвлеченные идеи, а реалисты 19 в. — объективно существующий, воспринимаемый мир. Модернисты в этом отношении шли на поводу у романтиков. Все начало меняться, когда в конце 60-х гг. нашего столетия роскошный павильон структурализма во Франции пришел в упадок, из материалов, которые можно было использовать вторично, бывший предводитель структуралистов Ролан Барт (1915—1980), а также Мишель Фуко (1926—1984), Жак Деррида (род. в 1930 г.) и другие принялись возводить новое здание, причем начали с крыши, стараясь доказать, что фундамент — материя или дух — необязательны.

От структуралистов, вернее, от языковеда Фердинанда Соссюра, постструктуралисты переняли триаду: знак — означающее — означаемое. Так как, по их мнению, язык служит основой человеческого существования в мире и мы конкретно воспринимаем вещи и явления лишь потому, что они имеют названия, окружающая действительность для человека — сплошной текст. К нему-то и относится триада, включая, разумеется, произносимые или написанные тексты. Дискурс, насколько я понимаю, является ограниченным и одновременно очень широким аспектом текста (исторический, философский, повествовательный, а также западный, восточный и т. д.)

Основное отличие постструктурализма от всех предыдущих теорий, включая структурализм, состоит в том, что ни один знак не является стабильным, что не существует какой-либо закономерности — абсолютно все может и должно быть подвергнуто философскому «расшатыва-

нию». Так как нет ничего «вне текста» (обособленного от реально существующего мира тем, что он лишь язык, лишь своя для каждого народа система обозначений) и мы мыслим только знаками, то дестабилизируется сам процесс познания, понятия истины.

В 1971 г. Ролан Барт утверждал: «Не верю, что Деррида признается когда-нибудь в желании создать разновидность науки, как не верю тому, что он имел подобные намерения. Добавлю, между прочим, что я пытался это делать». Барт действительно не выработал законченной теории. Однако Жак Деррида, который моложе его на пятнадцать лет, создал свою достаточно последовательную доктрину, чем усилил позиции широко распространенного на Западе релятивизма. Но насколько бы экстравагантным ни представлялось это учение, Деррида, по его собственному признанию, — ученик Гегеля, Ницше, Гуссерля, Хайдеггера (при «крестных отцах» Фрейте и Соссюре) и представитель современной философии — чаще всего упоминается в изданиях за последние десять—пятнадцать лет работ западных авторов, в которых рассматриваются проблемы литературы и письма вообще. Американец С. У. Мелвилл в 1986 г. подчеркивает: «Сочинения французского философа Жака Деррида оказывали, вне всякого сомнения, единственное наиболее сильное влияние на критическую теорию и практику США на протяжении последнего десятилетия или больше. Работы Деррида разрушительны по-настоящему, столь глубоко разрушительны, что ничто заведомо не ясно...» Его сложная теория распространилась также на всю Западную Европу и даже на Индию, где древнее учение о майе — иллюзорности мира — столь основательно переключается с релятивизмом постструктуралистов, что волей-неволей напрашивается вопрос — не являются ли они учениками древних жителей Бхараты.

... Неясность, неопределенность сознательно запрограммированы в теории Деррида уже тем, что присутствие чего-то возможно лишь вместе с отсутствием. «Не является ли диалектика превращением знака на горизонте в незнак, в присутствие за пределами знака?» Мысль о бытии (для Деррида — о сознании или самосознании) как о присутствии он называет лого-

Журнальный вариант (прим. ред.)

центризмом. Эта мысль как новое платье короля означает присутствие лишь на словах, иллюзию присутствия. Поэтому принцип «истина без истины» и «основание без основания», лежащий в основе аргументации Деррида, относится и к субъективному. На упрек о том, что у него нет никакого центра, философ отвечает, что субъект для него совершенно необходим, он его не уничтожает, а лишь определяет его место. И это место (если речь идет о субъекте авторе) — функция, подчиненное положение как по отношению к собственному тексту (в нашем понимании слова), так и к читателю. Но большой разницы в субординации между автором и читателем нет, ибо как тот, так и другой являются, согласно мысли Деррида, лишь конструктами языка, как тот и другой подвергнуты децентрации впоследствии того, что все знаки лабильны. И человек — тоже знак.

... Деррида причисляют к представителям лингвистической философии. Но если он им и является, то даже не ставит вопроса о связи языка и мышления, о языке как о средстве отображения мира, а выдвигает тезис о существовании «нелогоцентрической лингвистики». Принцип «ничего не существует ни до, ни после языка» средствами своей «грамматологии» Деррида разъясняет таким образом, что всякое упоминание о реальности предопределено археписьмом (письмом до письма). Любой текст включает намного больше, чем это кажется с первого взгляда, и становится в принципе неадекватно воспринимаемым, ибо всякое чтение — чтение неверное. Литература как общность текстов не может отобразить даже нечто похожее на правду. «Однако она гораздо сильнее, чем заключенная в ней правда. Может ли подобная «литература» позволить себя читать, расспрашивать, даже дешифровать исходя из психоаналитических схем, которые подчиняются тому, что она сама создает?»

... Какова же суть лингвистичности Деррида? Так как язык служит основой бытия, то мир — это бесконечный текст. Все текстуализируется. Все контексты — будь они политическими, экономическими, социальными, психологическими, историческими или теологическими, становятся интертекстами, то есть, влияния и силы внешнего мира текстуализируются. Вместо литературы у нас текстуальность, вместо традиции — интертекстуальность. Авторы умирают для того, чтобы возвысились читатели. В любом случае каждая самость, будь то критик, поэт или читатель, выступает как конструкция языка — текст. Что же из себя представляет текст? Это цепочки различающихся следов. Серии подвижных означающих. Множество пронизывающих знаков, которые влекут за собой в конечном итоге нерасшифруемые интертекстуальные элементы... А как же обстоит дело с правдивостью текстов? Случайные полеты означающих над текстовой поверхностью, рассеивание значения предлагают правду с одним условием: хаотичный процесс текстуальности должен сознательно регулироваться, контролироваться и быть остановленным. Правдивость выдвигается на передний план при материализации чтения. Правдивость — это не суть текста, не является она и его принадлежностью. Ни один текст не высказывает своей правды. Правда кроется где-то в другом месте в процессе чтения.»

... Свои теоретические предпосылки Деррида аргументирует, применяя декон-

струкцию — прочтение трудов выдающихся философов прошлого (начиная с Платона) с целью доказать насколько неоднозначно их можно понимать, и насколько сомнительна заключенная в любом утверждении истина. Рассматриваемый термин настолько важен для постструктуралистов, что представителей этой школы называют деконструкционистами. Целью деконструкции является попытка выяснить, в какой мере можно верить любому утверждению и отыскать истину. Выходит же совсем наоборот. Так как, согласно теории постструктурализма, любой текст соотносится не с объективной реальностью, а лишь с языком и его знаками, разрываются связи человека с миром, который существует независимо от него. Деконструкционист, желая от этого ли не, приходит к заключению, что нет никаких философски достоверных знаний. В этом отношении учителями Деррида были еще древнегреческие софисты, эпикурийцы и стоики. Но он идет гораздо дальше, дальше Ницше, заявившего, что «истина — это иллюзия, забывшая о том, что она иллюзия», и сомневается в смысле любого высказывания.

... То, что идеи Деррида возникли в наши дни, в наше время, а не в прошлые века, обоснованно. И в этом плане привлекает внимание его статья в журнале «Diacritics» — одна из шести на тему «ядерная критика» (как видите, существуют и такие новейшие ответвления критики!) Деррида в этой статье не касается вопросов литературы и философии. Он говорит о том, как человек чувствует себя в нашем неустойчивом мире, который постоянно находится на грани катастрофы, а судьба каждого висит на волоске. Оказывается, все эти чувства можно хорошо выразить терминологией постструктурализма. То, что происходит, сказочно текстуально насквозь. Ядерное вооружение больше чем любое другое оружие зависит от информационных структур и коммуникаций, от структур языка, включая невокализованный язык, от структур кодов и наглядной декодации... Однако феномен сказочно текстуален также в той мере, в какой пока ядерная война еще не произошла: о ней можно только говорить и писать». Деррида продолжает: человеческий социум всего мира висит на ниточке ядерной риторики (лингвистическая философия и критика нередко считают себя наследниками могущественной когда-то риторики). И в духе «черного юмора» философ указывает: «Как любой язык, любое писание, любой поэтически исполняемый и теоретически информативный текст себя отправляет, отсылает, позволяет себя посыпать, такисовременные ракеты, на чем бы они ни базировались, позволяют себя отображать в виде написанных депеш намного охотнее, чем когда-либо, (как код, записи, следы и т. п.). Но это не делает ракеты скучно безопасными, какими некоторые неправильно считают книги».

... Превращение ведущего литературного структуралиста Ролана Барта в постструктуралиста связана с тем, что шестидесятые годы на Западе были годами поиска новых теорий и новых направлений и антропологии, психоанализе, социологии. В теорию литературы мощно ворвалась лингвистика. Семидесятые же годы (во Франции и конце шестидесятых) характеризуются заметным отсутствием новых положительных теоретических импульсов.

Изданная в 1966 г. работа Барта «Критика и истина» вполне оптимистична, а в 1968 г. он уже выступает с нашумевшим манифестом «Смерть Автора» и по существу переходит на позиции постструктуралистической доктрины, цель которой — расшатать основы всего устоявшегося, не предлагая ничего определенного взамен. Раньше принято было считать, что Автор — отец родной своего сочинения. Чтобы рассказать о себе, о мире, ему необходим жизненный опыт. Во всяком случае, рассуждает Ролан Барт, между поэтом и стихотворением существовала определенная временная связь — поэт был «до», стихотворение — «после». Современный же писак (scripteur), оказывается, появляется на свет одновременно с сотворенным им текстом. Он не является подлежащим для своей книги — сказуемого. Есть лишь одно время высказывания (énonciation) — текст всегда пишется в настоящем времени. Говоря о смерти Автора, Барт отмечает, что он совсем не претендует на оригинальность и считает, что уже Малларме отказал Автору в пользу писания. Подобным же образом, якобы, действовали Валери и Пруст. Сюрреализм тоже много сделал для «десакрализации образа Автора». Брехт же его дистанцировал. Однако лингвистически Автор никогда не является чем-то большим, чем то, о чем он пишет, также как я не являюсь ничем другим, чем то, о чем говорю: язык знает «субъекта», но не знает «личности». Для Барта важен следующий вывод: если Автор изгнан, совершенно ненужной становится и «расшифровка» текста, а значит, отпадают и споры о его содержании в более широком контексте, чем то, о чем говорит им написанное. Придать Автора тексту означает снабдить текст окончательным, завершить писание. А это как раз, против чего выступают все постструктуралисты. Барт в конце шестидесятых годов перешел в иное качество, и в разных странах его по сей день воспринимают весьма серьезно. Англичанин Дейвид Лодж указывает, что декларация Барта о смерти Автора стала повседневной составной частью академической критики. Она функционирует в соответствии с популярной модой на деконструкцию и почти не оказывает воздействия на практику писательского труда.

Возможно. Однако имеются свидетельства того, насколько внимательно читали Барта известные писатели в то время. В первую очередь я имею в виду Джона Апдайка, у которого не было никакой необходимости прислушиваться к голосу достаточно далекого от американского литературного процесса француза. И все же Апдайк ознакомился с переводом объемного произведения Барта «S/Z», изданного в 1970 г. «Не могу припомнить какую-нибудь другую книгу, которая, будучи изданной на английском, доставляла бы при чтении столько трудностей». Писатель сумел-таки «продрагаться» сквозь эту «почти невозможную для прочтения книгу», целью которой является деконструкция повести Балзака «Сарацин». Апдайк познакомился и с другими произведениями Барта и считал необходимым писать о нем неоднократно, причем в аналитическом ключе.

«S/Z» является, возможно, самым сложным произведением Барта. В них «Сарацин» поистине деконструирован — расчленен на множество коротких и длинных глав по усмотрению Барта. Он рассказ

подвергает анализу, руководствуясь сложной системой кодов, как плюралистический текст с «целой Галактикой» означаемых, без какой бы то ни было структуры означаемых, без начала и конца. Барт устраняется от каких-либо оценок идейного содержания и художественных особенностей. Это реалистическое, с точки зрения его терминологии, однокодовое произведение Барт превращает во многокодовое и делает его открытым для самого разнообразного прочтения. То, что после подобной операции художественное сочинение уже перестает быть таковым, постструктуралиста не волнует.

Апдайк дал очень меткое определение всего того, что касается самого Барта и его «S/Z»: «Он учит нас тому, как разглядеть разные слои взаимодействия читателя и писателя над каждой страницей и на разных уровнях. Над страницами его собственного труда парит легкий незамысловатый слой застывшей иронии, смазывающий опус и комментарии к нему в единый слой» (там же).

Очерк «S/Z» (столь странное название возникло при своеобразном разъяснении имени собственного «Сарацина») возник в ходе семинарских занятий 1968—1969 годов, когда Барт работал преподавателем. В тексте различимы следующие мысли: нет контекста вне произведения, потому что все, что автор переживает и воспринимает, уже закодировано в языке, писатель-реалист, отображает не действительность, а по-просту переписывает код. Субъективность читателя — это только оживление кодов, существовавших до него; текст нужно оценивать с позиции его «постановки», а не в соответствии с научными или идеологическими критериями. Есть тексты читаемые (lisible) и есть написаемые (scriptible), с ироническим оттенком). В литературе по-настоящему ценны только написаемые тексты, потому что их можно еще раз написать, т. е., как я понимаю, они могут быть прочтены по-разному. «Почему же представляет для нас такую ценность написанное? (le scriptible). Потому, что сфера литературной деятельности (литературы как сферы труда) — превратить читателя не в потребителя текста, а в его создателя. Чтение — не что иное, как референдум, если текст не написан. По существу Барт говорит о множественности текстовых знаков, к осмыслению которых читатель приходит со своим восприятием, оценками, подчерпнутыми из других текстов, с бесконечностью кодов. Код, в свою очередь, — это «перспектива цитат» (уже известных, сказанных другими мыслями. — В. И.), «мираж структур». С точки зрения писателя, согласно Барту, важнее сам процесс написания, чем его результаты. И все же в «S/Z» Барт пытается ухватить этот мираж. Он представляет различные слои лексики в виде ветвистого дерева, выросшего из пня «желать—любить». Его вершина — «результат».

В 1971 г. Барт публикует новую книгу «От художественного произведения к тексту», где указывают на существенную разницу между «художественным произведением» и «текстом». «Художественное произведение есть нечто такое, что занимает определенное пространство как книга, а текст существует только как дискурс и никогда не бывает конкретным объектом. Ощущается он как активность, как постановка. Чем дальше, тем больше внимания уделяет Барт чтению (в смысле все нового написания читаемого) и читателю, стирает грань между текстами худо-

жественной литературы и критики. Это убийство Автора не только на словах, но и на деле, рассеивание субъекта, выпячивание неаутентичности литературы и всего сущего, сознательная игра понятиями.

В 1974 г. Барт заявляет: «Текст в современном, созвучном эпохе смысле, который мы хотим этому слову придать, фундаментально отличается от литературного сочинения; он не эстетическое произведение, а практика означения (pratique signifiante); он не структура, а возведение структуры (structuration); он не объект, а усилия и игра; он не общность закрытых знаков, имеющих смысл, который следует обнаружить, объем следов в перемещении». Текст, добавляет все же оказывающий большое влияние на западное литературоведение француз, как понятие шире понятия «Литературное сочинение»: имеется, например, «текст жизни», к которому «я пытался что-то дописать относительно Японии». Вполне понятно, что согласно Барту, критик должен довольствоваться «единственно закономерностью взаимосвязей без смысла», ибо, как им подчеркивается в другой работе, «мир литературного сочинения — весь мир, где все знания (социальные, психологические, исторические) находят место». Другими словами, Барт говорит о широком мире, однако дискурс критика посвящен лишь миру, созданному писателем. Эта мысль глубоко засела в современном западном литературоведении.

... К постструктуралистам на Западе относят и Мишеля Фуко — оригинального мыслителя, очень популярного в США (в социологии, криминологии, психологии, «политологии»), в то время как в Англии, где новые теории в наше время рождаются довольно редко, а созданные в других странах воспринимаются с долей предвзятости, основные его работы переведены, обсуждаются, но от них при жизни Фуко не были в восторге даже большинство его коллег — преподавателей университетов. На русском языке о Фуко, как и о Деррида, мне не приходилось читать почти ничего*. За границей по степени популярности с Фуко кроме названных соперничают и другие постструктуралисты — его соотечественник Жак Лакан и Жан Франсуа Лотар, американец Поль де Ман и другие. Однако основополагающая для литературоведа связка «человек—общество—история» наилучшим образом разработана М. Фуко.

Структурализму, его престижу и отстаиваемой им системы мысли, характеризующейся радикальным ограждением литературного текста от всего внешнего по отношению к нему мира во Франции большой удар нанесли студенческие и рабочие волнения 1968 г. Они заставили многих интеллигентов отказаться от элитаризма. Но впоследствии они нередко оказывались в плену у еще более опасного врага — постмодернизма с его стремлением низвести культуру в ее лучших проявлениях до уровня массовой. Фуко это почувствовал в 1966 г. и в работе «Слова и вещи» заговорил раньше Барта и Деррида о том, что человек — лишь категория, созданная научными кодами, он не является их создателем. Индивидуальное в человеческом субъекте, согласно Фуко, лишь поверхностное «следствие» анонимной системы Языка и Мысли. «Узнать — значит доставлять к языку язык», т. е. действительность для человека принципиально непознаваема. Не зря в этой связи он оперирует таким термином, как игра истины (Jeux de vérité). В работе «Археоло-

гия знания» (1969 г.) Фуко заявляет: «После дискурсивных событий всегда закончено и в настоящее время ограниченное единственными сформулированными лингвистическими последовательностями (séquences); они могут быть бесчисленными, они могут своей массой превзойти всякую возможность записи, запоминания или прочтения: все же они законченное общее. Другая основополагающая для его достаточно последовательной теории мысль: «... Начиная с определенного момента и на определенное время все люди будут думать одинаково, несмотря на поверхностные различия». Разумеется, в сочинениях Фуко речь идет лишь о «лингвистической революции», тем не менее — эволюции, определенной историчности, в то время как подавляющее большинство мыслителей современного Запада отрицает саму возможность эволюции и историчности как таковую.

Фуко настаивает на прерывистости «истории дискурсов», на том (и в этом с ним можно согласиться), что человек никогда не может находиться вне дискурсивных образований эпохи. Как бы намекая на веками существующую практику защиты диссертаций, он указывает, что частная истина ученого будет признана таковой лишь при условии, что она не будет выходить за рамки общей истины века, устанавливаемой авторитетными органами власти, в том числе и научной власти. Основной задачей «археологии знания» и является раскрытие объективно существующих законов языка (конечно, в постструктуралистском понимании этого слова), предопределяющее то, каким образом интерпретируются факты действительности соответствующей эпохи. «... В генезисе, непрерывности, суммировании (totalisation) состоят великие темы истории идей».

Но Фуко также ценитель Ницше. Он не признает «попытки периодизации дискурсивных образований». Исторические периоды для него только «хаотичное единство», а сама история — «археология», т. е. ее надо растолковать, прежде чем делать какие-то заключения. К тому же археология — не законченные знания о прошлом: каждое новое открытие может опровергнуть старые представления. Фуко считает, что для каждой «мутации» (периодов развития), не следующей одна за другой по восходящей, а являющейся только изолированными звеньями в цепи, характерна своя внутренняя структура, система, являющаяся точкой отсчета для всех ее подразделений. Для Ренессанса, например, мир это божественная рукопись, которая предназначена для того, чтобы человек ее прочел. В 15—16 вв. природа была ни чем иным, как сетью духовных символов, где все имело свое место. Во времена классицизма — в 17—18 вв., слова, как думает Фуко, функционировали как представители идей, цель которых все классифицировать, измерить и подсчитать: вещи должны соответствовать словам, а слова — вещам. Бог в этот период становится отсутствующим, а мир объектов получает значение только постольку, поскольку его мыслит субъект. Просветители отстаивают идею линейного общественного прогресса. С 19 в. начинается антропологическая и современная эпоха, когда слово отражает только внутренний мир человека для него же.

Наука, рассуждает Фуко, служила тому, чтобы конструктору человеческого субъекта придать объективный характер и сде-

ать его автономной субстанцией. Но в последнее время (речь идет о конце 60-х гг.) субъект все более оказывается во власти языковых структур, существующих независимо от него. «Мы не создаем науку — наука создает нас». Так как бог умер (указание на заявление Ницше примерно сто лет тому назад), жизнь человека развивается в соответствии с экзистенциалистическими ритмами.

Для понимания воззрений Фуко важен тезис, которому он присваивает значение «интеллектуальной этики», — отделиться от самого себя (*se déprendre de sois — mème*), т. е., уметь смотреть на себя как бы со стороны. «Отделение от самого себя», в моем понимании Фуко, обращено не только против открытого субъективизма в художественном творчестве (нечто подобное мы обнаруживаем уже в статье Т. С. Элиота «Традиция и индивидуальный талант» (1919), когда он говорил, что поэзия — бегство от личности), но это и отказ от «антропологизма» 19 в. «Нет ни одной культуры в мире, в которой было бы разрешено что-нибудь делать», — таким парадоксом Фуко формулирует бессилие человека. Нет, не без основания его считают неисторическим историком, антигуманистичным ученым гуманитарных наук, антиструктуралистическим структуралистом. Американец Карлис Рачевский написал книгу, один заголовков которой говорит о многом, — «Мишель Фуко и ниспровержение интеллекта» (1983).

... Постструктурализм разнообразен. Это ясно уже по работам трех рассмотренных известных его теоретиков. Но, кажется, можем сказать, что общими приметами для всего ответвления школы являются следующие:

1. Путем децентрации субъекта и деконструкции всякого текста релятивизируется любое понятие, включая самодеконструкцию понятий и терминов, выработанных Деррида, Бартом, Лотаром (он оперирует понятием «*différends*»), Полем де Маном, Юлией Кристевой и другими. Это парадоксальным образом делает постструктурализм менее уязвимым для критики — не зря говорят, что трудно высмеять недостатки того человека, который сам их высмеивает.

2. Расширение понятия текста до почти бесконечности. Кристева, например, говорит, что история и общество — нечто такое, что можно читать как текст. Однако, по сравнению со структурализмом, появляются диахронность (это особенно очевидно у Фуко) и элементы историчности посредством того, что каждый человек и тем более каждое новое поколение переписывают казалось бы давно написанные исторические дискурсы. Именно таким образом необходимо понимать заявление Фуко о том, что он не отрицает истории.

3. В постструктурализме, опять-таки в отличие от структурализма, намечается движение от текста (в нашем понимании слова) к контексту, от идеи автономии художественного произведения к идее о нем как о составной части всей идеологической надстройки. Но вряд ли этому развитию стоит радоваться — за расширение горизонтов анализа романа или рассказа приходится платить приравнением его к любому нехудожественному тексту. Часто употребляется первоначально близкое к структурализму понятие «интертекстуальности». Трудно сказать, когда впервые появился термин,

но уже в 1968 г. Кристева его дефинирует как «интертекстуальное действие, которое происходит внутри одного единственного текста». Что же на самом деле означает понятие интертекстуальности? Разъясняет его другой защитник этой концепции: «Когда я произношу «подайте мне, пожалуйста, соль», во мне говорят по меньшей мере три традиции: первая — умение различить природу, вкус и химические вещества, вторая — традиция социальных отношений, которая предоставляет возможность высказать какое-либо желание и ожидать его вежливого исполнения; третья кроется в основе двух первых — это традиция общения. Она позволяет нам говорить и выслушивать друг друга, то есть, «человек говорит на языке, который интертекстуален по своей природе». При дискуссиях об интертекстуальности акцентируются два момента: неизбежное присутствие предыдущих текстов не позволяет любому новому тексту считать себя автономным; функционирование текстов возможно лишь «в дискурсивном поле культуры». Чуть ли не как синоним «интертекстуальности» используется «диалогичность» — термин, который западными литераторами перенят у М. Бахтина.

4. Отношение к истине как к игре явлений, по словам Деррида, «игре следов», которая порождена незакрепленностью всех знаков, «*Différence*» тоже лишь игра следов. В нашем веке, когда бог мертв, она не принадлежит больше горизонту Сущего. Гайатри Спивак — автор введения переводчика к американскому изданию работы Деррида «о грамматологии», пишет, что деконструкция предлагает путь выхода из закрытости знания. Ею положено начало открытой для толкований неопределенности текстуальности. Помещая эту текстуальность над пропастью, деконструкция открывает перед нами соблазн пропасти свободы. Нас опьяняет перспектива никогда не добраться до дна». Что кого привлекает! Для других же деконструкция знака влечет за собой философски апокалиптические последствия — «ничуть не меньше, чем полное крушение нашего мира и языка», она также проявление постмодернистского страха.

Вопрос о взаимоотношениях постмодернизма и постструктурализма очень непросто и мало исследованный на Западе. Представляется, что между этими «измами» разного характера идет война, и постструктурализм является анархической попыткой расшатать общественный строй, породивший конформистский постмодернизм и все то, к чему привело реальное историческое развитие Запада. Ведь Ролан Барт дает понять, что закрытость текста — это идеологическая крепость, на которую необходимо нападать. Так как реализм им и многими другими толкуется как конформизм, то объектом анархической атаки становится сочинение Бальзака. Один из участников, философ и литературовед, коллоквиума «Ядерная критика» отмечает, что атомная бомба «не является случайным дополнительным продуктом индустриально-военного комплекса, она биологический и культурный продукт, коренящийся в истории Западной цивилизации. ее создание было неизбежным... Бомба находится в каждом из нас».

Журнал «*The Times Literary Supplement*» 21 августа 1987 г. поместил критическую статью о большой книге, вышедшей недавно в Великобритании, в которой силами многих авторов деконструируются сочине-

ния чуть ли не всех наиболее известных английских поэтов. Сам по себе факт выхода в свет такого издания показателен — до сих пор Англия пыталась не принимать постструктурализм. Но в данном случае не это так важно как то, что он критикуется как попытка левых «показать, что значение всегда является местом идеологической борьбы». Журнал так же подчеркивает, что деконструкционизм как и «Новая критика», на которую деконструкционисты часто нападают, потому что «новые критики» рассматривали художественное произведение как нечто целостное и автономное «регулярно отвечает определенной необходимости, включая необходимость для критики что-то делать...».

Можно и так считать. Но подобный взгляд не объясняет, почему постструктурализм столь живуч, почему его терминология «обрабатывается» в романах Джона Гарднера и Джона Фаулса, почему еще в 1969 г. Мишель Бютор заявил: «Нет индивидуальных сочинений. Сочинение индивида подобно узелку, образовавшемуся внутри ткани культуры, в которой он чувствует себя не погруженным, а появившимся. Индивид с самого начала — движение этой ткани культуры, а также — сочинение всегда коллективное сочинение. Английский писатель Колин Вилсон в 1986 г. заявляет, что все люди обладают как личностью, так и безличностью. «Безличная часть в нас реагирует на безличный мир вокруг нас. Великие писатели подобны средневековым ремесленникам, как если бы они создавали свои работы в церкви совершенно анонимно». Что это, если не мысли, схожие с теми, которые высказывают Ролан Барт и Мишель Фуко?

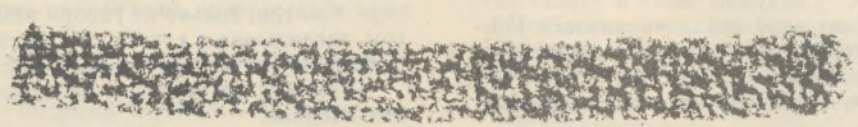
Постструктуралистские работы, какими бы ни были различия между ними, говорят нам о том, что познание ведет лишь к неверию в его возможности. Есть исследователи, которые усматривают в этой новой волне агностицизма влияние квантовой механики и вообще новейшей физики, чьи открытия превращают материю в нечто трудноуловимое. Возможно, свою роль играет и этот фактор. Проблему с необычной точки зрения освещает западногерманский философ Юрген Хабермас. Ссылаясь на тот факт, что постструктуралистский «стиль мышления» все больше проникает в ФРГ, по поручению английского журнала «*New Left Review*» у него спросили: «В чем, по вашему мнению, причина такого успеха и как вы ощущаете репатриацию Ницше и Хайдеггера в постструктуралистском облике?» Ответ был следующим: проникновение постструктурализма в западногерманские университеты связано с ситуацией на академическом рынке труда. Горизонт ожиданий молодых интеллектуалов стал столь мрачным, что широко распространились негативистские настроения, которые частично приводят к апокалиптическим ожиданиям «возрождения». Социальная реальность характеризруется такими рациональными действиями, которые оборачиваются все новыми опасностями. «По этой причине теории, которые улавливают целое как неистинное и предлагают возможность бегства как единственное утверждение, также получают все большее жизненное содержание». Обращаясь к понятию игры в постструктурализм, Хабермас указывает на последние выборы президента США, на которых президент-актер заявил, что он только играет роль президента. Однако, несмотря на это, он вновь был избран на пост. Нечто подобное,

говорит Хабермас, поддается объяснению только с помощью «цинических дурачеств деконструкционизма». Со своей стороны хочу добавить: премьер-министры и кандидаты на пост президента в какой-то мере тоже являются «мертвыми субъектами», хотя бы в том плане, что средства массовой информации продают их в буквальном смысле на аукционе.

... Пора обобщать сказанное. Конечно, лишь в той мере, в какой это возможно, учитывая почти полную неизученность у нас такого яркого и очень сложного феномена, каким на Западе является постструктурализм и его дитя — деконструкционизм. Основное, что хотелось бы подчеркнуть со всей убежденностью: нельзя далее отмахиваться от постструктурализма игнорированием его существования или несколькими страницами в работах, посвященных другим проблемам. Это явление пустило столь глубокие и разветвленные корни, что требует серьезного

внимания, если мы на самом деле хотим понять, что такое современный Запад и что представляет собой его основные школы теоретической «литературной критики». Даже те теоретики, которые несогласны принять постструктурализм как систему литературно-теоретического мышления, не могут обойтись без его терминологии. Дейвид Лодж, например, со всей определенностью говорит, что литературные сочинения не создаются случайно, что они являются преднамеренными актами действия «индивидуальных писателей», «применяющих разделяемые другими коды означения» (signification). «... Это в природе текстов, особенно художественных: в них содержатся бреши и неопределенности, которые могут быть заполнены разными читателями по-разному. Это в природе кодов: раз они введены в игру, то могут порождать модели значения, которые автор сознательно не имел в виду, когда их активизировал».

Ознакомление с тем, что делается в других регионах нашей планеты тем более важно, что и наша традиционная, в значительной степени основанная на аристотелевской «Поэтике», теория литературы (в той ее части, которая на самом деле является теорией художественной литературы) в настоящее время крайне нуждается в притоке новых идей. Я не говорю, что мы должны перенимать что-то от постструктурализма, новой герменевтики или психоаналитической критики, но о том, что мы лишь часть мира и должны определить свое отношение к происходящему в других странах. От подобных усилий мы беднее не станем. О том, что необходимо анализировать и проблему точек соприкосновения между отдельными ответвлениями нашей теории литературы и постмодернизмом, и постструктурализмом, говорит очень высокий авторитет среди представителей этих «измов» сочинений Михаила Бахтина.



БОРИС ДЫШЛЕНКО

ИЗ ЦИКЛА «ЖЕРНОВ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ»

ЖЕРНОВ И РЕВОЛЮЦИЯ

В. Беломлинской

РАССКАЗ

Как всегда Жернов пришел вовремя — он всегда приходил вовремя. Как бы сильно ни болела голова, как бы ни дрожали чисто отмытые с набухшими венами руки, как бы ни замирало ослабевшее к утру сердце, — в восемь утра всегда Жернов был здесь. Каждое утро он первый открывал обитую дерматином с торчащими из прорех ошметками войлока дверь и с ненавистью слушал фырканье включающихся газосветных трубок под потолком. Комната несколько раз моргала и потом появлялась неподвижная в мертвенном бело-сиреновом свете. Жернов и не представлял себе другого света — и дома у него был такой же, — просто с утра он ненавидел все вокруг. Он обходил стол, выдвигал ящик и каждый раз на несколько секунд стервел, когда к передней стенке ящика выкатывался блестящий и чистый стакан. Это продолжалось уже несколько недель, и у него не хватало духу что-нибудь предпринять.

Всю жизнь он действовал одинаково и не хотел действовать как-нибудь иначе, но до сих пор никому не пришло бы в голову с ним так поступать. Каждый вечер последним уходя отсюда, он выливал в стакан остатки портвейна и запирал его на ключ в верхнем ящике стола, и вот уже три—четыре недели находил его вымытым и пустым. Он знал, что это — результат его собственной ошибки, но мог только скрипеть зубами от злости. Все же у него недоставало ненависти к уборщице. С женой он развелся пять лет назад.

Он стоял посреди комнаты, приюхиваясь. Сильно пахло конторскими: ну да, уборщица приходит по вечерам. Нужно будет сказать ей, чтобы проветривала. Он подошел к окну и открыл его. Помещение сразу наполнилось холодным воздухом, и свет дневных ламп немного померк. Жернов снял черное с каракулевым воротником пальто, повесил на гвоздь, вбитый в стенку крашеного половой краской

шкафа, снял кашне. В пиджаке, в шапке стоял у окна, обхватив себя руками за плечи, зяб. Глядел на двухэтажный флигель, за которым — он знал это — находился второй, точно такой же, расположенный параллельно, помещение находилось в третьем. Он вдруг задумался: для чего было ставить три флигеля во дворе? Эта мысль, появившись, испугала его. Он снял шапку, повесил ее на гвоздь, причесал расческой жесткие, не желавшие лежать назад волосы и закрыл окно. Отодвинул стул, сел за стол, подпер свое длинное рябое лицо чисто вымытыми руками. Вдруг вспомнил: сегодня понедельник.

«Значит, конторских не было этих два дня? — подумал он. — Целых два дня держится запах!» — он покачал головой.

Достал из кармана пачку папирос, закурил одну. Выдохнул дым и раздавил папиросу в пепельнице. С утра, как всегда, не курилось.

«Вот сейчас бы стакан, как прежде!» — с вялой завистью подумал он.

На всякий случай выдвинул ящик: вымытый, блестящий гранями стакан, выкатившись, ударился о переднюю стенку.

«Это-то она не забыла», — подумал он.

Постепенно, по одному, по двое стали появляться конторские. Здоровались, угодливо улыбались, проходили. Иные делали озбоченные лица.

«Скоро опять навоняют», — с презрением подумал Жернов.

Опоздавший, выражая спешку, промчался мимо стола.

«Небось, вставать не очень спешил», — подумал Жернов.

Он внезапно подумал: не конторские ли каждый раз выпивают его портвейн? Отверг эту мысль: конторские уходили раньше, и никто кроме уборщицы не имел ключа от помещения.

Конторские зашелестели. Началась ежедневная жизнь. Не жизнь — борьба. Конторские тайно враждовали с Жерновым, надеялись, что однажды он умрет. Один раз, и вправду, чуть не умер, но конторские не знали об этом. Они думали о нем, как об уголовнике. Изредка конторские бросали на него косые взгляды. Он сидел, задумавшись, и не замечал этого. Он знал об их неприязни — она его не интересовала.

Уборщица приходила по вечерам, чаще, когда никого и самого Жернова уже не было в помещении. Если Жернов задерживался, молча убиралась, пока он пил, потом садилась на стул боком к столу и начинала болтать. Однажды застала его, сидящим за столом, с головой, запрокинутой за спинку стула. Рубашка была застегнута на все пуговицы, и он хрипел... Уборщица расстегнула ему воротничок, смотрела, как желтеет, оживая его рябое лица. Стояла над ним.

— Спаси-и-тельница! — умилилась она.

Когда конторские на время ушли, Жернов сходил в магазин и вернулся. Тайно от всех налил стакан портвейна и медленными непрерывными глотками выпил до дна. Только тогда открыл окно.

«Все равно навоняют», — с удовлетворением подумал он. Теперь мог хоть покурить.

Пять лет назад Жернов разошелся с женой. Вернувшись домой, он застал ее голой.

— Ты лучше ничего выдумать не могла? — спросил он поморщившись. Мужчину он послал за бутылкой. Она думала, что он наедине хочет ее бить, и заперлась в туалете. Жернов не стал бить жену, сидел, курил. Потом, когда распивали бутылку, жена плакала, собирала вещи. Перед этим Жернов сказал мужчине:

— Ты забирай ее с собой.

— Куда ж я ее заберу? — испугался мужчина. — У меня дома семья.

— Не знаю, — сказал Жернов. — Она здесь не числится: она вообще из другого государства.

К концу дня конторские зашелестели газетами. Жернов их за это ненавидел — сам он никогда не читал газет. Но больше всего он ненавидел их за суетливость.

— Уже зашевелились! — сказал Жернов, и они притихли.

Но он посмотрел на часы: оставалось пять минут. Он наклонился и символически плюнул под стол.

Когда он заканчивал вторую бутылку, пришла уборщица. Долго возилась с уборкой, потом потолкалась еще во все углы, но увидев, что Жернов не собирается, сложила инструменты в туалет и ушла. Ничего не рассказала.

В этот вечер неожиданно повезло: пришла девушка Дина. Она не первый раз приходила сюда. Сначала Жернова раздражало, когда она появлялась, но потом он привык и перестал стесняться. Сегодня он даже обрадовался.

— А я увидела, у вас свет горит, зашла посмотреть, — оправдывалась Дина и все вертелась, вертелась, оглядывалась по сторонам.

Ничего не говоря, Жернов встал, схватил ее в охапку и повалил. Она сперва сопротивлялась, брыкалась ногами, но потом сдалась.

— Смотри, только не говори никому, — шептала она потом, заглядывая в глаза, — а то узнают — засмеют.

Жернов встал, застегнулся, посмотрел в сторону.

— Ты при посторонних не называй меня на Ты, — сказал Жернов.

Он хотел налить ей стакан вина, но подумал, что жирно будет, и выпил сам.

2

С уборщицей были свои дела. В тот раз, когда она спасла его от удушья, придя в себя и чувствуя обязанность поблагодарить ее за факт спасения, он налил ей из бутылки стакан. Тогда, хоть и в удушье, вызванном тесным воротничком сорочки, Жернов успел немного проспать и с некоторым интересом выслушал ее рассказ о том, как год назад инженер убил ее взрослого сына.

— Они туда во двор зашли у школы, — задыхаясь от увлечения и ужаса, рассказывала она, — там на лавочке вторую бутылку и выпили. А потом, видно, разругались. Он когда упал, инженер потом его камнем по голове бил. Большой такой камень, инженер долго бил, пока всю голову не разбил, как лепешку. Сразу и не узнали, кто такой. Потом затащил в кусты и бросил.

— А утром дети нашли, — объяснила уборщица. — У него в кармане пропуск был.

— А инженера как?

— Соседи знали, что они вместе пьют. Тот пришел вечером сильно в крови. Инженер-теплотехник. Пять лет дали, потому что перед этим выгнали и лишили. А то дали бы десять.

Жернов молчал, курил, задумался, как все бывает. Ненавидел все это.

В обед конторские построили маленькую виселицу у второго флигеля. На лестнице подманили чью-то кошку. Теперь судили ее. Один держал ее на руках, поглаживал. Кошка мурлыкала, не понимала, что ее судят.

Жернов успел сходить в магазин, как всегда выпил свой стакан. Теперь стоял у открытого окна, курил, глядя во двор, конторские сгрудились у второго флигеля, что-то горячо обсуждали.

«Что-то затевают, сволочи,» — с тревогой подумал Жернов.

Потом увидел небольшую виселицу буквой Г и кошку на руках у конторского. Все понял.

— Эй, вы! — закричал Жернов, высунувшись из окна и грозя чистым кулаком. — Вы что там?

Конторские прекратили обсуждение, уставились на Жернова, топтались в нерешительности на месте.

— Вы что? — кричал Жернов. — Я вам! . .

Конторские не уходили: видимо, ждали, когда Жернов отойдет от окна. Жернов, и правда, отскочил от окна, хлопнув двумя дверьми, выскочил на лестницу и бегом спустился во двор. Громко топая, побежал ко второму флигелю, где конторские спешно вдевали кошку в петлю. Конторские, услышав, что он бежит к ним, бросились от него в рассыпную. Кошка осталась висеть, поджав хвост к животу, еще не дрыгаясь. Жернов приподнял кошку, осторожно ослабил петлю, снял с шеи. Отшлепав кошку, отпустил. Вернулся в помещение. Ему было жаль, что он не поймал кого-нибудь из конторских и не набил ему морду.

Когда ходил в магазин, заметил какое-то возбуждение, как будто все были недовольны и чего-то ждали. Или не допили . . . Не обратил внимания, потому что самого крутило с похмелья. Теперь, сидя после двух стаканов за столом и покуривая, вспомнил об этом.

«Ну и народ! — подумал про себя Жернов. — Тупой народ — сами не знают, чего хотят.»

Конторские, напуганные, сидели тихо, не шелестели даже газетами.

К концу дня вспомнил Дину и удовольствие, которое от нее получил.

«Зачем приходила? — подумал Жернов. — Я ее не просил. Сама пришла. Теперь начнет называть на Ты — все поймут. Надо будет напомнить ей, — подумал Жернов, — чтоб не говорила.»

Вообще не понимал, зачем с ней связался. Последнее время как-то забыл о женщинах: пил — и все. Жену все это время не вспоминал, хотя теперь подумал, что она, пожалуй, была лучше Дины.

«Зачем она мне нужна такая? — подумал он. — Придумала тоже, домой водить . . .»

Дину подучила сюда ходить уборщица: Дина приходилась уборщице племянницей, и та желала ей добра.

— Ты походи туда, — говорила она ей. — Он разведенный — может, что получится. Ты, главное, поспи, — настаивала уборщица, — мужики это любят. Поспит-поспит и женится. Чего даром пить?

В пять часов конторские защелкали замками чемоданчиков. Жернов молча смотрел на них своим рябым лицом, как выходили. Шумной компанией валились вниз по лестнице — удалялись их голоса, потом возникли снова во дворе под окном.

— Целый день сверлит глазами, людоед проклятый! — послышалось там.

— Ничего, скоро всем таким шею скрутим, — услышал Жернов, как чей-то голос сказал.

Сидел, наливался желчью, пил вино. Дину он сегодня не ждал, но она и не пришла. Уборщица тоже все не приходила. Бросил в ящик пустой с остатками винной краски стакан, а ящик не стал запирать — ни к чему.

3

К транспарантам на улицах добавились кое-где флаги. Жернов старался не обращать ни на что внимания. Только утром, когда заглянул в стол и увидел, что опять стакан чисто вымыт, то пожелтел от злости.

«Чего моет? — стиснув зубы, подумал он. — Ведь не было же в нем ничего!»

Конторские пришли и сразу опять навоняли. Сегодня шушукались и почти без стыда заглядывали в газеты. Жернов прикрикнул на них, и они на минуту притихли, но потом опять принялись за свое, газета ходила по рукам.

«Свободничают!» — подумал Жернов, но больше вмешиваться не стал.

«Интересно, почему это Дина вчера не пришла? — подумал Жернов, пытаюсь курить. — Стесняется,» — подумал он.

Он не знал, что Дина племянница уборщицы. Знал, что у уборщицы есть племянница, но не знал, кто. Однажды уборщица рассказала ему, что они все деревенские.

— Мы все деревенские, — говорила она, — и я, и муж был, и они. Брат у меня тоже и племянник, и племянница — много там народу.

Вернувшись из магазина, увидел на своем столе «Генеральную Газету». Холодно взглянул на нее — ко всему был готов — и прошел мимо к окну. Открыл окно, снял пальто, кашне, сходил, вымыл руки. Придя, достал из портфеля бутылку, налил в чистый стакан вина, не доходя на сантиметр до краев. Выпил, выдохнув ноздрями приторно-сладкий воздух, закурил.

«Сволочи! — подумал он, взглянув на газету. — Подсунули.»

Конторские еще не приходили. «Генеральная Газета» говорила, что «с этим пора покончить» и призывала ко всеобщей забастовке. Поскорее, пока никто не видел, спрятав газету в стол.

Понемногу стали возвращаться конторские. Проходили, с независимым видом усаживались на места, шелестели газетами, некоторые расхаживали от стола к столу. Когда пришел последний, Жернов посмотрел на часы.

«Свободничают!» — подумал он.

Сходил в туалет, вымыл руки.

Однажды уборщица рассказала историю.

— У нас в деревне был мужик, — рассказывала она, — с дочкой жил. Думали можно — оказалось, нельзя. Так шесть детей она ему и нарожала. Дети рождаются без косточек, полоумные, все погодки. И такие мягкие-мягкие. Кто на лавочке, кто на табуретке сидят — и не держатся: так и растекаются все. Как студень. А хорошие. Один получился, как гроб. Колышется и весь в медальках. Говорили ему: нельзя — не послушался. Так шестерых и нарожали.

Жернов был в деревне только один раз. Ему теперь все казалось, что это в той деревне и произошло.

Сегодня конторские совсем обнаглели: защелкали замками раньше, чем обычно, не досидели точно до конца. А Жернов ждал не дождался когда они все наконец уйдут. Не мог их видеть в такой наглости и свободе, но и сделать ничего не мог. Когда при открытом окне пил, пришла уборщица. Жернов посмотрел, как она с виноватым видом тычется во все углы, молча пил.

— Ты б налил, — сказала она, убравшись, и сложила руки под животом.

— А ты б попросила, я б и налил, — с обидой сказал Жернов, — зачем свободничаешь? Знаешь ведь, что мне на утро надо.

Поднимаясь по темной пахнувшей длесенью лестнице домой и спотыкаясь, вспомнил, что сказала ему уборщица после стакана. Она села боком у стола, сложила руки на коленях и с таинственным страхом и восторгом пропела:

— Кто газету читал, говорят: скоро революция бу-удет, — поглядела на Жернова вопросительно.

— Ты б не болтала ненужного, чего не надо, — сердито сказал Жернов, — а то гляди, как раз доболтаешься.

4

В этот день весь транспорт без позволения ездил на красный свет. Это сильно затрудняло движение на перекрестках, и почти повсеместно то и дело организовывались пробки. Жернов, подолгу простаивавший на переходах, пришел позже, чем обычно. Все равно никого из конторских еще не было здесь.

«Свободничают, — сказал Жернов, — не то хитрят, что движение трудное, — подумал он, — или обнаглели совсем».

Как всегда, открыл окно, хоть и не курилось с похмелья. Откуда-то издали доносилась, так громкая, музыка из репродуктора — такие большие колокола. На улицах сегодня везде их повключали, и они гремели. Жернов не интересовался этой музыкой: и вообще-то никогда музыкой не интересовался, а от этой зверел. Закрыв окно, уселся за стол и стал ждать конторских, чтобы опять навоняли.

Они сегодня хоть и опоздали, но пришли все сразу, вместе. Гордо и вызывающе поглядывали на Жернова со своих рабочих мест, почти не притворялись.

«Ну ты гляди! — удивился он про себя. — Как они теперь! Видно, что-то почуяли. На что хорошее, а на всякие гадости и нюх, и время найдется». Плюнул под стол и стал звонить по всем номерам.

— А ты чего не женишься? — спрашивала уборщица вчера. — Женился б — меньше пил.

— А чего мне не пить? — спросил в ответ Жернов. — Я на свои пью, не занимаю.

Жена тогда так и уехала в свою страну. Больше о ней не было ни слуху, ни духу. Портвейн дорожал, и конторские наглели.

Уже с обеда на улицах было полно народу, как в законные выходные. Сговаривались сразу человек по десять, все вместе шли в магазин. Держались развязно, загадочно смотрели на продавщиц, но и те не боялись. Правда, ни к кому не приставали, только, набрав бутылок, уходили во дворы и парадные быстро пить. Здесь же, в магазине, стоял шум и галдеж.

— Больше трех не собираться! — никому крикнул какой-то очень кудрявый весельчак.

«Пошуту у меня, — неохотно подумал Жернов, — доутишься...»

Взял, как обычно, две. Когда шел назад, обратил внимание, что теперь уже все балконы в транспарантах, и кое-где вот-вот начнутся драки, но дряблое лицо Жернова внушало доверие, его не трогали.

Как Жернов ни старался вернуться из гастронома пораньше — ведь ожидал от конторских сегодня какой-нибудь гадости, — кто-то опять положил ему на стол «Генеральную Газету». Жернов хотел сунуть ее в стол, как и вчерашнюю, но передумал.

«Нет, убирать не буду. Надо им показать,» — думал он, постепенно стерженея.

Руки тряслись. Налил полный стакан портвейна, выпил до дна. Все как следует спрятал. Взял из пепельницы погасшую до обеда папиросу, прикурил снова. После этого открыл окно и пошел мыть руки.

После обеда конторские затеяли маршировать. Построились по двое и ходили вперед-назад через помещение от стола до двери и обратно под музыку, которая там, за флигелями была громкой, а сюда доносилась издали. Жернов терпел около часу. Потом встал, сходил в чулан. Принес оттуда пыльные резиновые сапоги, расстелил на столе подкинутую газету. Демонстративно завернул в нее сапоги и унес сверток в чулан. Когда-то Жернов служил срочную службу в армии и теперь презирал конторских за их неумелость, но не высказывал им своего мнения.

«Буду я еще учить их! — с презрением подумал Жернов. — И так сплошное безобразие. Ну прямо, как обезьяны в зоопарке», — думал он.

Еще уборщица вчера рассказала, как они собирались всей родней убить инженера-теплотехника за ее сына.

— Он у нас недалеко на лесоповале работал, — рассказывала она, — а тут брат прибежал. Он моему сыну — дядькой. Так любил! Они рыбу вместе ловили. Он прибежал и говорит: этот, говорит, теплотехник у нас рядом на лесоповале работает. Шофером. Давайте, говорит, его убивать за племянника. Ну, все сговорились, а как раз зима. Лед

на реке стоит крепкий, надо прорубь рубить. Да вот, за пьянствовали — так ничего и не вышло.

«Тупой народ, — подумал Жернов, — зачем убивать?» Он стиснул зубы от того, что мимо его стола опять промаршировали конторские.

Когда конторские разошлись, Жернов, расстегнув на всякий случай воротничок и открыв окно, чтобы проветрить помещение от запаха, налил из бутылки в стакан портвейна и собрался выпить. Сидел, задумавшись над стаканом. Даже не заметил, как потихоньку пришла уборщица. Послал ее за дополнительной бутылкой в гастроном. Потом вместе сидели, пили вино.

— Что-то я здесь Дины не вижу, — сказала уборщица по-женски, не приходит?

— А что? — угрюмо спросил Жернов, хотя сам внутренне насторожился.

— Да нет, ведь она племянница мне, — оправдывалась уборщица, — а?

— Нет, — сказал Жернов, — не видел.

— Сиротка! — жалостливо сказала уборщица. — Я ее жалею. А?

— Родителей нет? — спрашивал Жернов. Не верил, что сирота.

— Отец-мать деревенские, — сказала уборщица, отводя глаза, — все мы из деревни.

— Чего же сирота? — спросил Жернов. — Есть же родители. Братья, сестры...

Дина пришла сразу же, как будто ждала, когда уборщица выйдет за дверь. Жернов и дожидаться не стал, тут же повалил ее на пол. На этот раз она совсем не сопротивлялась.

«Чего уж там, — думала она. — Если бы не было, а то было».

Когда встал, спросил ее, зачем она не говорила, что племянница.

— А что ж говорить? — ответила Дина, занимаясь своей юбкой. — Я стеснялась: вроде как бы я племянница уборщицы.

— Врешь, наверное, — предположил Жернов, — наверное, это она тебя подговорила. Ох и люди! Нельзя с вами по-доброму.

— Ты все-таки не говори мне Ты, — еще раз напомнил он.

5

С утра было уже совсем ничего не разобрать: народу на улицах почти не было, зато транспарантов и флагов было столько, что уже и балконов было не видеть. Небо обложилось тяжелыми тучами, но дождь не шел. Жернов, не включая освещения, постоял у открытого окна, в тьме оцепенении глядя на параллельный флигель в пасмурном дворе. Подойдя к стене, повернул выключатель. Напрягшись и стиснув зубы, ждал, пока зафыркает и вспыхнет стылый неподвижный свет. Стена, шкаф с висящим на стенке пальто, запертые столы — все это... Подошел к своему столу, отпер его, нервно захлопнул ящик, прислушался, как застучал, катаясь между стенками, стакан. Запах конторских не выветривался. Сел за стол и сидел, стиснув голову руками: не то спал, не то думал.

«Генеральная Газета» сообщала о полной победе вооруженного восстания. «Новое правительство в прежнем составе приступило к проведению политики». Сегодня конторские не подбрасывали ему газету — Жернов сам прочел передовицу, возвращаясь из гастронома. Конторские притихли, сидели весь день за столами, даже не шелестели. «Ладно, перебежесся», — думал Жернов. Ему предстояло два дня быть дома.

1979 год



РИСУНОК ИВАРА ХЕЙНРИХСОНА

ОФОРМИТЕЛЬ I, IV ОБЛОЖКИ — ОЯРС ПЕТЕРСОНС

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,

